Александр Пушкин



ГЛАВНЫЕ КНИГИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Борис Годунов
Капитанская дочка

Историческая драма о Смутном времени. Опираясь на Шекспира и Карамзина, Пушкин смешивает языки и стили и открывает в русской истории глубокую психологическую проблематику. А также главная русская идиллия: история любви и спасения на фоне бунта, бессмысленного и беспощадного.

альпина ПРОЗА ПОЛКА

Борис Годунов. Капитанская дочка

Александр Сергеевич Пушкин

Аннотация

Аннотация

Историческая драма о Смутном времени — и главная русская историческая драма вообще. Опираясь на Шекспира и Карамзина, Пушкин смешивает языки и стили и открывает в русской истории глубокую психологическую проблематику. Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении типов, Карамзину следовал я в... развитии происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени. Источники богатые! умел ли ими воспользоваться — не знаю, — по крайней мере, труды мои были ревностны и добросовестны. А также главная русская идиллия: история любви и спасения на фоне бунта, бессмысленного и беспощадного.

Александр Пушкин



ГЛАВНЫЕ КНИГИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Борис Годунов
Капитанская дочка

Историческая драма о Смутном времени. Опираясь на Шекспира и Карамзина, Пушкин смешивает языки и стили и открывает в русской истории глубокую психологическую проблематику. А также главная русская идиллия: история любви и спасения на фоне бунта, бессмысленного и беспощадного.

альпина ПРОЗА ПОЛКА

Александр Пушкин

Борис Годунов

Трагедия

Капитанская дочка

Повесть

ПОЛКА

альпина ПРОЗА

Москва, 2023

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Рекомендуем книги по теме



Полка: О главных книгах русской литературы (тома I, II)

Коллектив авторов



Полка: О главных книгах русской литературы (тома III, IV)

Коллектив авторов





Александр Пушкин. Гравюра Василия Матэ. *1899 год*{1}

Предисловие «Полки»

Историческая драма о Смутном времени — и главная русская историческая драма вообще. Опираясь на Шекспира и Карамзина, Пушкин смешивает языки и стили и открывает в русской истории глубокую психологическую проблематику.

Игорь Пильщиков



О чем эта книга?

Россия, рубеж XVI–XVII веков. После шести лет правления Бориса Годунова в стране зреет Смута: появляется самозванец, беглый монах Григорий Отрепьев, который выдает себя за сына Ивана Грозного — царевича Димитрия, убитого по приказу Бориса. Самозванец при поддержке поляков идет войной на Москву. Борис умирает; бояре, убив царицу и наследника, объявляют новым царем Самозванца. Смысл пушкинской трагедии не только и не столько в переносе на сцену подлинных исторических событий, сколько в постановке на историческом материале универсальных, «вечных» вопросов — политических (допустима ли узурпация власти?), моральных (можно ли творить добро, совершив единожды зло?) и психологических (какова цена раскаяния за содеянное?).

Когда она написана?

Пушкин начал работу над трагедией в декабре 1824 года, находясь в ссылке в Михайловском. Ранняя редакция, первоначально озаглавленная «Комедия (!) о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве», была завершена 7 ноября 1825 года, о чем Пушкин

сообщил князю Петру Андреевичу Вяземскому: «Трагедия моя кончена; я перечел ее вслух, один, бил в ладоши и кричал: ай да Пушкин, ай да сукин сын!»1

Как она написана?

На этот вопрос ответил сам Пушкин: «Твердо уверенный, что устарелые формы нашего театра требуют преобразования, я расположил свою трагедию по системе Отца нашего — Шекспира»2. Правда, в середине 1820-х годов Пушкин еще не мог читать произведения Шекспира по-английски в силу слабого знания языка и знакомился с ними по французскому переводу Пьера Летурнёра, который впоследствии признал несовершенным3. Трагедия в духе Шекспира, чей культ провозгласили романтики, в жанровом сознании Пушкина и его современников была противопоставлена классицистской трагедии, высшие образцы которой они находили в творчестве Жана Расина. Пушкин специально подчеркивал «важную разницу между трагедией народной, Шекспировой, и драмой придворной, Расиновой»4.

Говоря о влиянии Шекспира, Пушкин заявляет, что он «принес ему в жертву пред его алтарь» не только три «классические единства», но и

«единство слога — сего 4-го необходимого условия французской трагедии»5. Пушкин стремился максимально расширить экспрессивный диапазон литературного языка и даже считал возможным выходить за его пределы. В «Борисе Годунове» сталкиваются языковые стихии, несовместимые с точки зрения эстетики классицизма. С одной стороны, это стихия «высокой» поэзии — торжественные церковнославянизмы, вкрапления летописных старорусских оборотов:

…К его одру, царю едину зримый,

Явился муж необычайно светел,

И начал с ним беседовать Феодор

И называть великим патриархом.

И все кругом объяты были страхом,

Уразумев небесное виденье,

Зане святый владыка пред царем

Во храмине тогда не находился.

С другой стороны, это «низкая» прозаическая стихия: бытовое просторечие и даже вульгарная лексика6. В начале марта 1826 года Пушкин писал Плетнёву из Михайловского: «В моем “Борисе” бранятся по-матерну на всех языках. Это трагедия

не для прекрасного полу»7. В печатном тексте пьяный монах Варлаам говорит: «Отстаньте, пострелы!»; сейчас печатают по рукописи: «Отстаньте, сукины дети!» — но в первоначальном варианте у Пушкина было еще грубее: «Отстаньте, б… дети»8 (это выражение, встречающееся и у протопопа Аввакума, по всей видимости, попало к Пушкину из летописной цитаты у Карамзина).

В классической трагедии все это было немыслимо. Чтобы осознать это, достаточно сравнить «Бориса Годунова» с образцовым театральным произведением русского классицизма — трагедией Александра Сумарокова «Димитрий Самозванец» (1771), где Самозванец в первой реплике рекомендует себя так: «Зла фурия во мне смятенно сердце гложет, / Злодейская душа спокойна быть не может», — а положительный герой Пармен, спасая из рук Лжедмитрия Ксению Годунову, объявляет в конце: «Избавлен наш народ смертей, гонений, ран, / Не страшен никому в бессилии тиран»9.

Что на нее повлияло?

На три главных источника «Бориса Годунова» указал сам автор: «Изучение Шекспира, Карамзина и старых наших летописей дало мне мысль облечь в драматические формы одну из

самых драматических эпох новейшей истории. …Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении типов, Карамзину следовал я в… развитии происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени. Источники богатые! умел ли ими воспользоваться — не знаю, — по крайней мере, труды мои были ревностны и добросовестны»10. Пушкин полагал11, что читать его трагедию следует, лишь «перелистав последний том Карамзина», поскольку «она полна славных шуток (bonnes plaisanteries) и тонких намеков (allusions fines) на историю того времени… Необходимо понимать их, это sine qua non[1]». Лингвист и пушкинист Григорий Винокур заметил, что влияние Карамзина (чьей «драгоценной для россиян памяти» посвящена трагедия) на Пушкина имело не только документальный, но и литературный характер: Пушкин имитировал не только стиль летописных и житийных цитат, но и стиль карамзинского повествования12.



Неизвестный художник. Царь Борис Федорович Годунов. XVIII век{2}

Ещё один возможный источник — дума Кондратия Рылеева «Борис Годунов» (1821–1822): в ней, как позже у Пушкина, царь Борис — мудрый правитель и в то же время преступник-убийца, мучимый нечистой совестью13. Это убедительное сопоставление, предложенное историком

литературы Василием Сиповским, самому Пушкину вряд ли бы понравилось: он считал14, что рылеевские «Думы дрянь и название сие происходит от немецкого dumm [т.е. «глупый»]».

Имеются и локальные влияния — заимствования характеров, положений, микросюжетов. Например, сцена, в которой Отрепьев, зачитывая бумагу, диктует приставам чужие приметы вместо своих, заимствована из либретто оперы «Сорока-воровка» Джоакино Россини — одного из любимых композиторов Пушкина15.

Наконец, общим интересом к исторической тематике в художественной литературе пушкинская эпоха обязана Вальтеру Скотту и его историческим романам.

Как она была опубликована?

Не получив от Николая I разрешения на публикацию и постановку пьесы, Пушкин напечатал несколько сцен в журнале и альманахах в 1827–1830 годах. Собираясь жениться на Наталье Гончаровой, поэт по совету друзей вновь обратился к царю за разрешением опубликовать трагедию, мотивируя эту просьбу необходимостью поправить свое материальное положение. На этот раз разрешение было получено. Император через графа Бенкендорфа[2] разрешил

автору опубликовать трагедию «под его собственной ответственностью» («sous votre propre responsabilité»)16. Книга вышла в свет 22–23 декабря 1830 года, на обложке и титульном листе выставлен 1831 год. Книга продавалась по 10 рублей ассигнациями. Автор получил за нее гонорар в размере 10 тысяч рублей17.

До 1866 года «Борис Годунов» был запрещен цензурой к постановке на сцене. Первая постановка состоялась 17 сентября 1870 года на сцене Мариинского театра в Петербурге — силами актеров Александринского театра. В современных изданиях «Бориса Годунова» окончательная редакция трагедии дополнена сценой на Девичьем поле, взятой из рукописной редакции: предполагается, что она была исключена Пушкиным при подготовке издания 1831 года по цензурным причинам. Это привело к механическому соединению двух редакций в тексте, который долго воспроизводился как канонический18. Редакторы нового академического собрания отказались от этого текстологического решения19.

Как ее приняли?

Публикация отрывков из «Бориса Годунова» вызвала огромный интерес, почти ажиотаж — «величайшее волнение в нашем литературном

мире», по словам Белинского20. Даже Фаддей Булгарин, ссора с которым уже назревала, перепечатал в «Северной пчеле»[3] сцену на литовской границе: эту сцену он счел «совершенством по слогу, по составу и по чувствам»21. Степан Шевырёв писал: «Нужно ли повторить перед Пушкиным, что все с нетерпением ожидают появления “Бориса”?»22 Николай Надеждин с неудовольствием замечал, что трагедия успела, того не заслуживая, «изжить огромную славу еще до своего появления», и советовал Пушкину «сжечь “Годунова” и — докончить “Онегина”»23.

В первом номере «Литературной газеты» за 1831 год (от 1 января) ее издатели Антон Дельвиг и Орест Сомов сообщали: «“Бориса Годунова”, соч. А. С. Пушкина, в первое утро раскуплено было, по показаниям здешних [петербургских] книгопродавцев, до 400 экземпляров»24. Однако ожидания публики не оправдались. По выходе отдельного издания критики почти единогласно объявили трагедию неудачной. Некоторые рецензии даже были грубо ругательными. Пушкин начал выходить из моды; издатель «Северного Меркурия» Михаил Бестужев-Рюмин встретил «Годунова» следующим «куплетцем»:

И Пушкин стал нам скучен,

И Пушкин надоел,

И стих его не звучен,

И гений охладел.

Бориса Годунова

Он выпустил в народ.

Убогая обнова,

Увы! на Новый год!

Однако и более серьезные критики были недоброжелательны. Критик и писатель Николай Полевой, указав, что «образцом его [Пушкина] была Шекспирова историческая драма» (т.е. хроники)25, был тем не менее возмущен, что Пушкин вслед за Карамзиным оклеветал Бориса. Это обвинение, считал Полевой, не только антиисторично, но и антипоэтично: «Как мог Пушкин не понять поэзии той идеи, что история не смеет утвердительно назвать Бориса цареубийцею!»26 По мнению критика, пушкинская трагедия лишена цельности: в ней отсутствует единый план, ей свойственна отрывочность, которую Пушкин ошибочно принимает за романтизм. Эти два обстоятельства и стали причиной неудачи «Бориса Годунова» — она «происходит: 1-е. От бедности

идеи… 2-е. От несправедливого понятия об исторической или вообще романтической драме»27.

Булгарин усмотрел в разных сценах «Бориса Годунова» подражания Шиллеру, Вальтеру Скотту и Байрону28. Указания эти были во многом проницательны: параллели с Шиллером и Скоттом принимают современные историки литературы. Надеждин был недоволен тем, что Самозванец заслоняет Бориса, заглавный герой трагедии не является ни единственным, ни главным ее героем. Пушкин делал вид, что критика его не задевает, и с пренебрежением отзывался о мнениях «наших Шлегелей»[4], именуя их «попугаи или сороки Инзовские[5], которые картавят одну им натверженную е… мать»29.

На этом фоне сдержанно-критический отзыв Ивана Киреевского звучал как позитивный, и Пушкин благодарил молодого критика за проявленное понимание. По мнению Киреевского, главный герой пушкинской трагедии — не Борис, не народ и его История, а «тень умерщвленного Димитрия»: она «царствует в трагедии от начала до конца, управляет ходом всех событий, служит связью всем лицам и сценам, расставляет в одну перспективу все отдельные группы и различным краскам дает один общий тон, один кровавый от-

тенок»30. Согласно Киреевскому, «Борис Годунов» — это не трагедия действия или страсти, а трагедия мысли, отдаленными параллелями к которой являются «Прометей прикованный» Эсхила, первая часть «Фауста» Гёте или «Манфред» Байрона. Все эти произведения далеки от современности, поэтому и «Борис Годунов» не был понят читателями (впрочем, это обстоятельство Киреевский ставит в упрек не читателям, а Пушкину).



Федор Шаляпин в роли Бориса Годунова. Метрополитен-опера, 1921 год{3}

Негативное отношение к «Годунову» переломил Белинский. Хотя он также порицал Пушкина за «рабское» следование Карамзину и соглашался с критиками-предшественниками в том, что «в «Борисе Годунове» Пушкина почти нет никакого драматизма»31, эти недостатки центральной

идеи и общего плана трагедии Белинский оправдывал совершенством ее языковой формы32. В 10-й статье пушкинского цикла[6] (1845), целиком посвященной «Борису Годунову», он утверждал, что каждая сцена «Годунова» превосходна, она «сама по себе есть великое художественное произведение, полное и оконченное»33. Слабую связь между сценами Белинский объяснял пушкинским «шекспиризмом» и тем самым как бы оправдывал их жанровую природу: «Вся трагедия как будто состоит из отдельных частей, или сцен, из которых каждая существует как будто независимо от целого. Это показывает, что трагедия Пушкина есть драматическая хроника, образец которой создан Шекспиром»34. В результате, повторив все упреки «Годунову», высказанные критиками 1830-х годов, Белинский пришел к прямо противоположному выводу: «Словно гигант между пигмеями, до сих пор высится между множеством quasi-русских трагедий пушкинский “Борис Годунов”, в гордом и суровом уединении, в недоступном величии строгого художественного стиля, благородной классической простоты…»35

Что было дальше?

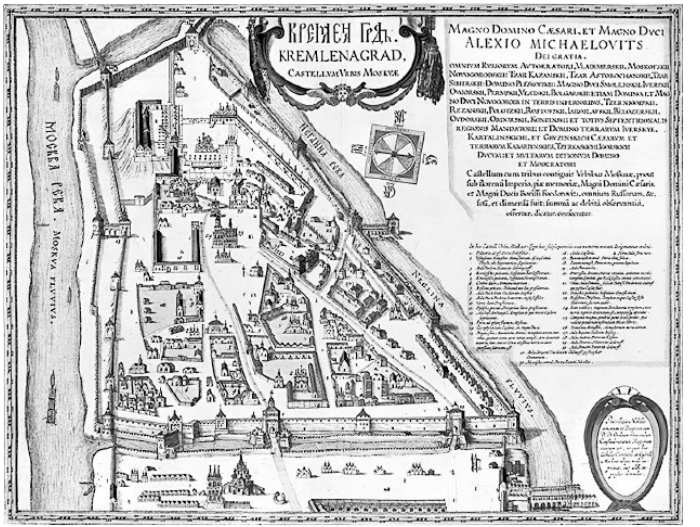
Булгарин, советовавший переделать «Бориса Годунова» в роман в духе Вальтера Скотта, напи-

сал такой роман сам и приложил усилия к тому, чтобы издать его раньше пушкинской трагедии. После публикации исторического романа «Димитрий Самозванец» (1830) Пушкин обвинил Булгарина в заимствованиях из «Годунова»: «Раскрыв наудачу исторический роман г. Булгарина, нашел я, что и у него о появлении Самозванца приходит объявить царю кн. В. Шуйский. У меня Борис Годунов говорит наедине с Басмановым об уничтожении местничества, — у г. Булгарина также. Все это драматический вымысел, а не историческое сказание»36. Поскольку трагедия Пушкина за исключением трех отрывков еще не была опубликована, то Пушкин заподозрил, что Булгарин ознакомился с рукописью трагедии при посредничестве III отделения (по-видимому, так оно и было). 18 февраля 1830 года Булгарин написал Пушкину оправдательное письмо, ни одному слову из которого автор «Бориса Годунова» не поверил. 7 марта Булгарин прочел в «Литературной газете» резко критическую анонимную статью о своем романе, написанную Дельвигом, но счел ее автором Пушкина. В ответ Булгарин в «Северной пчеле» разругал в пух и прах VII главу «Евгения Онегина», внезапно увидев в ней «совершенное падение» пушкинского таланта. Пушкин и Булга-

рин стали смертельными врагами.

Несмотря на то что трагедия Пушкина была воспринята как неудача, она породила настоящий «годуновский бум»37. Трагедия Алексея Хомякова «Димитрий Самозванец» (1832) была воспринята современниками как «продолжение» пушкинской38. В пику обоим предшественникам Михаил Погодин опубликовал прозаическую хронику, озаглавленную «История в лицах о Димитрии Самозванце» (1835) и посвященную Пушкину.

Если друзья Пушкина стремились написать продолжение пушкинской трагедии (сиквел), то граф Алексей Константинович Толстой написал к ней предысторию (приквел). В драматической трилогии «Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Федор Иоаннович» (1868) и «Царь Борис» (1870) автор охватил историю русского царского двора с 1584 по 1605 год. Во всех трех пьесах (написанных, как и пушкинская трагедия, белым пятистопным ямбом), и особенно в последней, Толстой явно или неявно откликается на пушкинский текст, а иногда скрыто полемизирует с ним. По иронии судьбы последняя пьеса трилогии Толстого была опубликована в год первой постановки пушкинского «Годунова». Так же, как Пушкин, Толстой не увидел свою трагедию на сцене.



Первая подробная карта Московского Кремля, созданная при царе Алексее Михайловиче в 1663 году{4}

В 1874 году на сцене Мариинского театра состоялась премьера оперы Мусоргского «Борис Годунов». Она существует в пяти редакциях: в двух авторских (1869, 1872), в двух редакциях Римского-Корсакова (1896, 1908) и в редакции Шостаковича (1940). В XX веке опера Мусоргского была причислена к мировой классике, но современные композитору художественная критика

и академический театр встретили ее непониманием. Большое значение для ее популяризации имело исполнение заглавной партии Федором Шаляпиным. Интересный факт: Мусоргский в опере неверно идентифицировал песню о Казани, которую поет Варлаам. «Как во городе было во Казани, / Грозный царь пировал да веселился» — один из самых известных репертуарных номеров в русской музыке. Однако Пушкин имел в виду не военную песню, а любовную — это песня о молодом чернеце, которому «захотелось погуляти»39.

Зачем царь читал трагедию и писал на неЕ замечания?

Первым читателем «Бориса Годунова» должен был стать царь Николай I. В начале сентября 1826 года, сразу после коронации Николая, Пушкин прибыл по его вызову в Москву. Царь «простил» поэту былые «прегрешения» и разрешил ему печатать свои произведения, вызвавшись сам быть его цензором, то есть как бы избавив его от общей цензуры. На деле же цензурная проверка пушкинских текстов приняла более пристрастный и непредсказуемый характер. Когда до начальника III отделения Его Императорского Величества канцелярии графа Александра Бенкендорфа дошли «сведения» о том, что Пушкин «изволил читать в

некоторых обществах сочиненную… вновь трагедию», Бенкендорф обратился к поэту «письменно с объявлением высочайшего соизволения»: «до напечатания или распространения» своих новых произведений Пушкин должен представлять их на рассмотрение царю через посредничество начальника III отделения «или даже и прямо Его Императорскому Величеству»40.

Пушкин представил рукопись, которая была дана на отзыв анонимному рецензенту (предположительно, Булгарину). Отзыв оказался уничижительным: «В сей пиесе нет ничего целого: это отдельные сцены или, лучше сказать, отрывки из X и XI тома «Истории государства Российского», сочинения Карамзина, переделанные в разговоры и сцены. <…> Литературное достоинство гораздо ниже, нежели мы ожидали. <…> Кажется, будто это состав вырванных листов из романа Валтера Скотта! <…> Все подражание, от первой сцены до последней. Прекрасных стихов и тирад весьма мало»41.

Ознакомившись с представленными замечаниями и, по-видимому, так и не прочитав саму трагедию, Николай I начертал собственноручную резолюцию, переданную Пушкину Бенкендорфом: «Я считаю, что цель г. Пушкина была бы

выполнена, если б с нужным очищением переделал Комедию свою в историческую повесть или роман, на подобие Валтера Скота»42. На это пожелание Пушкин ответил: «Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное»43.

В чем заключается пушкинский «шекспиризм»?

Шекспировскую трагедию отличает от расиновской отсутствие трех классических единств (времени, места и действия), а также совмещение высоких и низких тем, персонажей и средств языкового выражения (такая трагедия местами «опускается» до комедии). Отсюда такие особенности пушкинской трагедии, как быстрый перенос действия с одного места в другое (из кремлевских палат в корчму на литовской границе), шестилетний перерыв во времени в середине драматического повествования, важная сюжетно-идеологическая роль юродивого, смешение поэзии с прозой и макаронизм — смешение языков (русского, французского и немецкого в сцене на равнине). «Борис Годунов» написан белым (то есть безрифменным) пятистопным ямбом, но со спорадической рифмовкой в «ударных» местах и с прозаическими вставками — как у Шекспира. В жанровом сознании эпохи пятистопный

ямб противопоставлен александрийскому стиху (шестистопному ямбу с парной рифмовкой), как драматический размер английского типа — размеру высокой трагедии французского типа. Пушкин считал, что шекспировская трагедия вообще лишена пространственно-временной упорядоченности и сюжетного единства. Это не так. В этом отношении «Борис Годунов» ближе к хроникам Шекспира, чем к его трагедиям (и так же, как шекспировские хроники, «Борис Годунов» труден для постановки на сцене).

Литературовед Виктор Жирмунский так характеризовал пушкинское отношение к Шекспиру: «Шекспир, по мнению Пушкина, создает характеры сложные и разносторонние, жизненно противоречивые, по-разному обнаруживающиеся в разных обстоятельствах, в противоположность рассудочной односторонности приемов характеристики французского классицизма»44. Противопоставляя драматургию Шекспира французским классикам, Пушкин в качестве отрицательного (!) примера приводил даже не трагика Расина, а другого его великого современника — комедиографа Мольера: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живые,

исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние характеры»45. Что же касается «Бориса Годунова», то Пушкин полагал, что ему удалось «написать трагедию истинно романтическую»46, то есть такую, в которой находит выражение «истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах»47.

В «Борисе Годунове» можно усмотреть и прямые параллели с героями и сюжетами исторических хроник Шекспира, а также с «Макбетом» — шекспировской трагедией, наиболее близкой по своим жанровым характеристикам к хроникам. Так, и царь Борис, приказавший убить царевича Димитрия, и Лжедмитрий, приказавший убить детей Годунова, напоминают узурпатора Глостера, приказавшего убить наследных принцев («Ричард III»), а Марина Мнишек своим властолюбием напоминает леди Макбет.

Почему современники считали трагедию несценичной?

И классицистская, и раннеромантическая трагедия (Озеров, Жуковский) были ориентированы на декламацию и строились на чередовании длинных монологов и стихомитий (быстрых

обменов репликами-афоризмами равной длины, обычно в одну строку каждая). Пушкин ввел в драматический текст живую диалогическую речь — но театр не был к этому готов48. Кроме того, отказ от единства действия привел к значительной обособленности сцен «Годунова» друг от друга — они не воспринимались как части единого целого, о чем писал49, например, критик Николай Полевой. Вдобавок возникала необходимость частой смены декораций, технически затруднительная, хотя в принципе и решаемая средствами тогдашней театральной машинерии. Поэтому современники считали пушкинскую трагедию непригодной для сценического исполнения50. Неясен был и ее жанр: сам Пушкин первоначально именовал свою трагедию комедией, а на обложке первого печатного издания назвал ее просто «сочинением», без указания жанровой принадлежности. Современник приводит отзыв консервативного читателя о «Борисе Годунове»: «Ну что это за сочинение? Инде прозою, инде стихами, инде по-французски, инде по-латине, да еще и без рифм»51. Этот наивный отзыв принадлежит безымянному старичку, но то же самое записал о «Годунове» ведущий поэт и теоретик романтического «младоархаизма» Павел Кате-

нин: «Возвращаюсь к «Борису Годунову», желаю спросить: что от него пользы белому свету? <…> На театр он нейдет, поэмой его назвать нельзя, ни романом, ни историей в лицах, ничем… <…> Я его сегодня перечел в третий раз и уже многое пропускал, а кончил да подумал: 0 <то есть “нуль”»52.

О сценичности «Годунова» театроведы спорят до сих пор. Но каковы бы ни были теории, практика безжалостно показывает: сценическую судьбу пушкинской трагедии трудно назвать удачной. Первая постановка (1870) особого успеха не имела. Спектакль был сыгран в 1870-м тринадцать раз и в 1871 году — четыре раза. Не более успешными оказались московские постановки — Малого (1880) и Художественного театров (1907)53. В советское время ряд постановок был связан с пушкинскими юбилеями 1937 и 1949 годов и подготовкой к ним — таковы постановки Ленинградского театра драмы имени Пушкина (1934, 1949), Малого театра (1937), киевского Театра имени Ивана Франко (1949). В послеюбилейные годы, несмотря на множество статей, обосновывающих новаторскую сценичность «Бориса Годунова», пьеса практически не ставилась.

В 1982 году состоялась премьера «Бориса Го-

дунова» в Театре на Таганке (постановка Юрия Любимова, музыкальное оформление Дмитрия Покровского; в спектакле участвовал и экспериментальный фольклорный ансамбль Покровского). После первых представлений спектакль был запрещен распоряжением Министерства культуры СССР и возобновлен лишь в 1988 году. Существует видеозапись таганского спектакля в версии 1999 года.

Трагедия Пушкина выходила на экран дважды. В 1986 году Сергей Бондарчук поставил «Бориса Годунова» на киностудии «Мосфильм» (в аннотации, предоставленной самой киностудией, эта экранизация названа «классической»). Значительным культурным событием последнего десятилетия стал «Борис Годунов» Владимира Мирзоева с Максимом Сухановым в роли Годунова и Андреем Мерзликиным в роли Отрепьева. Действие перенесено в наши дни.

Насколько «Борис Годунов» точен исторически?

Действие трагедии происходит в 1598–1605 годах. При работе автор опирался на недавно вышедшие X и XI тома карамзинской «Истории государства Российского», о которых Пушкин заметил: «C’est palpitant comme la gazette d’hier»

<«Это злободневно, как свежая газета»>54. Под злободневностью он имел в виду55 тему узурпации трона, чрезвычайно щекотливую для Александра I[7]. Первая сцена приурочена к 20 февраля 1598 года. Сцена в Чудовом монастыре помечена: «1603 года». Сцена на границе литовской — «1604 года, 16 октября», битва на равнине — «1604 года, 21 декабря». В тексте трагедии фигурируют только эти четыре даты. Заглянув, по совету Пушкина, в «Историю» Карамзина, читатель мог датировать и заключительные сцены: смерть Бориса — 13 апреля 1605 года, финал (убийство Марии и Феодора Годуновых) — 10 июня 1605 года.

Пушкин не сходился с Карамзиным по политическим взглядам, но доверял его тексту как источнику. В статье об «Истории русского народа» антикарамзиниста Николая Полевого Пушкин писал: «Карамзин есть первый наш историк и последний летописец»56. Пушкин считал, что летописцы объективно и отстраненно фиксировали происходившие события (это представление отразилось и в фигуре Пимена в «Борисе Годунове»). Отсюда доверие Пушкина Карамзину и летописям в вопросе об убийстве Димитрия по приказу Бориса. Рассказ Пимена об убийстве царевича ос-

нован на изложении событий в X томе «Истории государства Российского»: «…злодеи, издыхая, облегчили свою совесть, как пишут, искренним признанием; наименовали и главного виновника Димитриевой смерти: Бориса Годунова. …Но судиею преступления был сам преступник!»57 По замечанию Винокура, «Пушкин тщательно собрал из обоих томов «Истории государства Российского» все указания на клеветнические легенды в антигодуновской литературе Смутного времени, создав при их помощи потрясающую картину безвыходного одиночества и полной обреченности мудрого царя-злодея»58.

Намеренно ли Пушкин пожертвовал исторической правдой, заострив трагизм характера? К примеру, современники знали, что Сальери не убивал Моцарта, но это не помешало Пушкину написать великую трагедию, в которой он фактически оклеветал старшего композитора. Но вероятнее другое: Пушкин не подозревал, что летописи могут быть тенденциозными. Писатель и историк Михаил Погодин[8], слышавший «Годунова» еще до публикации в авторском исполнении, указывал на возможную предвзятость летописцев в «Московском вестнике» (1829) — журнале, с которым Пушкин сотрудничал.

Пушкин статью прочел и оставил на полях замечания, свидетельствующие о резком несогласии со скепсисом Погодина. Известно, что свое мнение Пушкин отстаивал и в личном разговоре с Погодиным. Однако многие современные историки, соглашаясь с Погодиным, считают, что убийство Димитрия было Годунову политически невыгодно и к тому же трудноосуществимо59. Кроме того, как указал тот же Погодин, престол Грозного унаследовал не Димитрий, а Феодор, чью относительно раннюю смерть и бездетность никто не мог предвидеть загодя.

Иногда Пушкин намеренно отказывается от исторической точности. Грибоедов справедливо критиковал изображение Иова в «Борисе Годунове», соглашается Пушкин60 — но оставляет все как было. Роль Гаврилы Пушкина значительно расширена по сравнению с материалом карамзинской «Истории» — все добавленные детали выдуманы. Допускает Пушкин и анахронизмы, игнорируя некоторые карамзинские датировки. Так, дьяк Щекалов не мог присутствовать в Царской думе при обсуждении угроз Лжедмитрия, поскольку был отстранен Годуновым от дел еще до появления Самозванца61.

Иногда Пушкин опирается на летописные

источники Карамзина, процитированные, но отвергнутые самим историком. У Пушкина в сцене на Девичьем поле мужики и бабы по наущению бояр «силятся» плакать, прося Годунова на царство. Один спрашивает: «Нет ли луку? Потрем глаза», другой отвечает: «Я слюней помажу»62. Карамзин в этом случае, напротив, не решается доверять источникам, но восклицает в примечании: «В одном Хронографе сказано, что некоторые люди, боясь тогда не плакать, но не умея плакать притворно, мазали себе глаза слюною!»63

Помимо Карамзина Пушкин читал, хотя бы частично, Никонову летопись, изданную Николаем Новиковым в 1771 и 1788 годах. Из нее Пушкин заимствовал первоначальный вариант заглавия пьесы. Раздел летописи, излагающий появление Самозванца, озаглавлен: «О настоящей беде московскому государству и о Гришке Отрепьеве»64.

Наконец, Пушкин позволяет себе почти камео, причем двойное. Он вводит в действие реальное историческое лицо — Гаврилу Пушкина, который выступает на стороне Самозванца, и вдобавок лицо вымышленное — Афанасия Пушкина, который первым, со слов своего «племянника» Гаврилы, сообщает Шуйскому о появлении Лжедмитрия. Автор не отказывает себе в удовольствии дать

Афанасию слова: «Его [Самозванца] сам Пушкин видел»65, а царю поручает знаменитую реплику: «Противен мне род Пушкиных мятежный»66. Неудивительно, что общий настрой трагедии не нашел сочувствия у императора и его советчиков.

Какую роль в «Борисе Годунове» играет польская тема?

По первоначальному плану, составленному автором, «польские сцены» в трагедии не предполагались — действие должно было разворачиваться в России67. Однако по мере работы над текстом Пушкин увидел в польской стороне не случайную внешнюю силу, а альтернативную — европейскую позднеренессансную — цивилизацию, с которой сталкивается цивилизация допетровской России. По мнению Григория Гуковского, «мысль о столкновении двух культур явилась у Пушкина в процессе работы над трагедией и независимо от материала, почерпнутого из «Истории» Карамзина»68. В «Годунове» изображены два типа женской любви (Ксения и Марина), два типа словесности (летописание Пимена и латинские стихи краковского придворного поэта), два пира (в Москве у князя Шуйского и в Самборе у воеводы Мнишка), два типа ари-

стократии (польская шляхта и русское боярство) и две церкви — православная и католическая (их представители: патриарх Иов и pater Черниковский)69.

Польская тема приобрела неожиданную актуальность в момент публикации «Бориса Годунова»: началось и продолжалось Польское восстание 1830–1831 годов. Пушкин противился поискам в трагедии политических намеков (allusions), которые не были в ней заложены. 7 января 1831 года он с неудовольствием писал своему другу-издателю Петру Плетнёву, что после появления немецкого перевода «Годунова» европейские критики «будут искать в «Борисе» применений к Варшавскому бунту и скажут мне, как наши: «Помилуйте-с!..»70



Лжедмитрий I. Из сборника Thesaurus picturarum. 1564–1606 годы{5}

Какова пушкинская философия истории и государственной власти, выраженная в «Борисе Годунове»?

В пушкинской трагедии четыре действующие силы: народ, аристократия, царь и самозванец.

Царь правит боярами, аристократы-бояре манипулируют народным мнением, народный бунт используется для взятия власти, приходит новый царь, который оказывается самозванцем. Проблема самозванства живо интересовала Пушкина. Следующему великому самозванцу российской истории — Емельяну Пугачёву — он посвятит и исторический труд («История Пугачева», которую император собственноручно переименовал в «Историю Пугачевского бунта»), и исторический роман («Капитанская дочка»). Получается, что ни монарх, ни аристократия и ни народ не являются единовластными движителями истории. Кто-то или что-то периодически самовольно нарушает ее ход, поэтому невозможно ни уверенно предсказать будущее, ни полностью восстановить логику истории. Об этом Пушкин размышлял в заметках о втором томе «Истории русского народа» Полевого (1830): «Не говорите: иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но провидение не алгебра. Ум человеческий… видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно

ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия провидения»71. В «Борисе Годунове» слово «провидение» употреблено лишь единожды, но в подчеркнуто значимом контексте. В сцене «Лес», где действуют только два персонажа — Лжедмитрий и Гаврила Пушкин, предок автора говорит о царевиче-самозванце: «Хранит его, конечно, провиденье»72.

Отчего у Бориса «мальчики кровавые в глазах»?

Сейчас мы воспринимаем эти слова однозначно, как виде́ние убиенного младенца. Однако Даль в «Пословицах русского народа» приводит в тематическом разделе «Здоровье — хворь» пословицу: «Въ глазахъ позеленѣло; въ глазахъ мальчики заплясали»73. Он же в «Словаре живого великорусского языка» указывает на близкие выражения: мальчики / угланчики [то же, что мальчики] / мухи въ глазахъ бѣгаютъ, со значением «пестритъ, темнитъ»74. Выражение «мальчики в глазах» встречается и обыгрывается в текстах конца XVIII — начала XIX века. Есть анекдот о Ермиле Кострове, переводчике «Илиады» и «Песен Оссиана», известном своей страстью к спиртному:

Раз, после веселого обеда у какого-то лите-

ратора, подвыпивший Костров сел на диван и опрокинул голову на спинку. Один из присутствующих, молодой человек, желая подшутить над ним, *спросил:*

— Что, Ермил Иванович, у вас, кажется, мальчики в глазах?

— И самые глупые, — отвечал Костров75.

Таким образом, в языке пушкинского времени «мальчики в глазах» — это готовое выражение, фразеологизм, а в устах Бориса это оговорка, выдающая — прямо по Фрейду! — его бессознательные страхи.

Почему в конце пьесы «народ безмолвствует»?

Первоначальная редакция «Бориса Годунова» завершалась возгласом «народа»: «Да здравствует царь Димитрий Иванович!»76 Фраза взята у Карамзина («История государства Российского», т. XI, гл. III): когда бояре «хотели схватить гонцов Лжедимитриевых: народ не дал их и завопил: «Время Годуновых миновалось! <…> Да здравствует царь Димитрий! <…> Гибель племени Годуновых!»77 В печатной редакции текст заканчивается знаменитой ремаркой «Народ безмолвствует»78. Она подала повод для множества интерпретаций. Каноническая принадлежит, как и во многих других случаях, Белинскому:

«Это — последнее слово трагедии, заключающее в себе глубокую черту, достойную Шекспира… В этом безмолвии народа слышен страшный, трагический голос новой Немезиды, изрекающей суд свой над новою жертвою — над тем, кто погубил род Годуновых…»79 Позднейшие читатели уже не помнили, что эффектную фразу о «голосе новой Немезиды» Белинский позаимствовал из статьи немецкого любителя русской литературы Карла Августа Фарнхагена фон Энзе (1785–1858), вышедшей в 1838 году и в следующем году дважды переведенной на русский язык80.

Не считается окончательно решенным вопрос об источнике пушкинской ремарки. Выражение «народ безмолвствовал» встречается у Карамзина, но по другому поводу81. Большинство исследователей с теми или иными оговорками соглашаются с предположением академика Михаила Алексеева о том, что источником — «триггером», подсказавшим Пушкину решение заменить финальную реплику немой ремаркой, стали слова Мирабо[9], процитированные в «Истории французской революции» Адольфа Тьера: «Le silence des peuples est la leçon des rois» («Молчание народа — урок королям»). Мирабо не был автором этого афоризма — он принад-

лежит архиепископу Сенезскому Жану Бове (1731–1790)82.



Борис Годунов

Драгоценной для Россиян памяти

НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА КАРАМЗИНА

сей труд, гением его вдохновенный, с благоговением и благодарностию посвящает
АЛЕКСАНДР ПУШКИН

Кремлевские палаты.
(1598 года, 20 февраля.)
Князья Шуйский и Воротынский
Воротынский.
Наряжены мы вместе город ведать,
Но, кажется, нам не за кем смотреть:
Москва пуста; вослед за патриархом
К монастырю пошел и весь народ.
Как думаешь, чем кончится тревога?
Шуйский.
Чем кончится? Узнать не мудрено:
Народ еще повоет, да поплачет,
Борис еще поморщится немного,
Что пьяница пред чаркою вина,
И наконец по милости своей
Принять венец смиренно согласится;
А там — а там он будет нами править
По прежнему.
Воротынский.
Но месяц уж протек,
Как, затворясь в монастыре с сестрою,
Он кажется покинул всё мирское.
Ни патриарх, ни думные бояре
Склонить его доселе не могли;
Не внемлет он ни слезным увещаньям,
Ни их мольбам, ни воплю всей Москвы,

Ни голосу Великого Собора.
Его сестру напрасно умоляли
Благословить Бориса на державу;
Печальная монахиня-царица
Как он тверда, как он неумолима.
Знать сам Борис сей дух в нее вселил;
Что ежели Правитель в самом деле
Державными заботами наскучил
И на престол безвластный не взойдет?
Что скажешь ты?
Шуйский.
Скажу, что понапрасну
Лилася кровь царевича-младенца;
Что если так, Димитрий мог бы жить.
Воротынский.
Ужасное злодейство! Полно точно ль
Царевича сгубил Борис?
Шуйский.
А кто же?
Кто подкупил напрасно Чепчугова?
Кто подослал обоих Битяговских
С Качаловым? Я в Углич послан был
Исследовать на месте это дело:
Наехал я на свежие следы;
Весь город был свидетель злодеянья;
Все граждане согласно показали;

И возвратясь я мог единым словом
Изобличить сокрытого злодея.
Воротынский.
Зачем же ты его не уничтожил?
Шуйский.
Он, признаюсь, тогда меня смутил
Спокойствием, бесстыдностью нежданой,
Он мне в глаза смотрел, как будто правый:
Расспрашивал, в подробности входил —
И перед ним я повторил нелепость,
Которую мне сам он нашептал.
Воротынский.
Не чисто, князь.
Шуйский.
А что мне было делать?
Всё объявить Феодору? Но царь
На всё глядел очами Годунова,
Всему внимал ушами Годунова:
Пускай его б уверил я во всем;
Борис тотчас его бы разуверил,
А там меня ж сослали б в заточенье,
Да в добрый час, как дядю моего,
В глухой тюрьме тихонько б задавили.
Не хвастаюсь, а в случае конечно
Ни кая казнь меня не устрашит,
Я сам не трус, но также не глупец

И в петлю лезть не соглашуся даром.
Воротынский.
Ужасное злодейство! Слушай, верно
Губителя раскаянье тревожит:
Конечно кровь невинного младенца
Ему ступить мешает на престол.
Шуйский.
Перешагнет; Борис не так-то робок!
Какая честь для нас, для всей Руси!
Вчерашний раб, татарин, зять Малюты,
Зять палача и сам в душе палач,
Возьмет венец и бармы Мономаха…
Воротынский.
Так, родом он незнатен; мы знатнее.
Шуйский.
Да, кажется.
Воротынский.
Ведь Шуйский, Воротынский…
Легко сказать, природные князья.
Шуйский.
Природные, и Рюриковой крови.
Воротынский.
А слушай, князь, ведь мы б имели право
Наследовать Феодору.
Шуйский.
Да, боле,

Чем Годунов.
Воротынский.
Ведь в самом деле!
Шуйский.
Что ж?
Когда Борис хитрить не перестанет,
Давай народ искусно волновать,
Пускай они оставят Годунова,
Своих князей у них довольно, пусть
Себе в цари любого изберут.
Воротынский.
Не мало нас наследников Варяга,
Да трудно нам тягаться с Годуновым:
Народ отвык в нас видеть древню отрасль
Воинственных властителей своих.
Уже давно лишились мы уделов,
Давно царям подручниками служим,
А он умел и страхом и любовью
И славою народ очаровать.
Шуйский *(глядит в окно)*.
Он смел, вот всё — а мы… Но полно. Видишь,
Народ идет, рассыпавшись, назад —
Пойдем скорей, узнаем, решено ли.

Красная площадь.
Народ.
Один.
Неумолим! Он от себя прогнал
Святителей, бояр и патриарха.
Они пред ним напрасно пали ниц;
Его страшит сияние престола.
Другой.
О Боже мой, кто будет нами править?
О горе нам!
Третий.
Да вот верховный дьяк
Выходит нам сказать решенье Думы.
Народ.
Молчать! молчать! дьяк думный говорит;
Ш-ш — слушайте!
Щелкалов *(с Красного Крыльца).*
Собором положили
В последний раз отведать силу просьбы
Над скорбною Правителя душой.
Заутра вновь святейший патриарх,
В Кремле отпев торжественно молебен,
Предшествуем хоругвями святыми,
С иконами Владимирской, Донской,
Воздвижится; а с ним синклит, бояре,
Да сонм дворян, да выборные люди

И весь народ московский православный,
Мы все пойдем молить царицу вновь,
Да сжалится над сирою Москвою
И на венец благословит Бориса.
Идите же вы с Богом по домам,
Молитеся — да взыдет к небесам
Усердная молитва православных.
(Народ расходится.)

Девичье поле. Новодевичий монастырь.
Народ.
Один.
Теперь они пошли к царице в келью,
Туда вошли Борис и патриарх
С толпой бояр.
Другой.
Что слышно?
Третий.
Всё еще
Упрямится; однако есть надежда.
Баба *(с ребенком).*
Агу! не плачь, не плачь; вот бука, бука
Тебя возьмет! агу, агу!... не плачь!
Один.
Нельзя ли нам пробраться за ограду?
Другой.
Нельзя. Куды! и в поле даже тесно,
Не только там. Легко ли? Вся Москва
Сперлася здесь; смотри: ограда, кровли,
Все ярусы соборной колокольни,
Главы церквей и самые кресты
Унизаны народом.
Первый.
Право любо!
Один.

Что там за шум?
Другой.
Послушай! что за шум?
Народ завыл, там падают, что волны,
За рядом ряд… еще… еще… Ну, брат,
Дошло до нас; скорее! на колени!
Народ *(на коленах. Вой и плач).*
Ах, смилуйся, отец наш! властвуй нами!
Будь наш отец, наш царь!
Один *(тихо).*
О чем там плачут?
Другой.
А как нам знать? то ведают бояре,
Не нам чета.
Баба (с ребенком).
Ну, что ж? как надо плакать,
Так и затих! вот я тебя! вот бука!
Плачь, баловень!
(Бросает его об земь. Ребенок пищит.)
Ну, то-то же.
Один.
Все плачут,
Заплачем, брат, и мы.
Другой.
Я силюсь, брат,
Да не могу.

Первый.
Я также. Нет ли луку?
Потрем глаза.
Второй.
Нет, я слюнёй помажу.
Что там еще?
Первый.
Да кто их разберет?
Народ.
Венец за ним! он царь! он согласился!
Борис наш царь! да здравствует Борис!

Кремлевские палаты
Борис, патриарх, бояре.
Борис.
Ты, отче патриарх, вы все, бояре,
Обнажена моя душа пред вами:
Вы видели, что я приемлю власть
Великую со страхом и смиреньем.
Сколь тяжела обязанность моя!
Наследую могущим Иоаннам —
Наследую и ангелу-царю!…
О праведник! о мой отец державный!
Воззри с небес на слезы верных слуг
И ниспошли тому, кого любил ты,
Кого ты здесь столь дивно возвеличил,
Священное на власть благословенье:
Да правлю я во славе свой народ,
Да буду благ и праведен, как ты.
От вас я жду содействия, бояре,
Служите мне, как вы ему служили,
Когда труды я ваши разделял,
Не избранный еще народной волей.
Бояре.
Не изменим присяге, нами данной.
Борис.
Теперь пойдем, поклонимся гробам
Почиющих властителей России —

А там, сзывать весь наш народ на пир,
Всех от вельмож до нищего слепца;
Всем вольный вход, все гости дорогие.
(Уходит, за ним и бояре.)
Воротынский *(останавливая Шуйского).*
Ты угадал.
Шуйский.
А что?
Воротынский.
Да здесь, намедни,
Ты помнишь?
Шуйский.
Нет, не помню ничего.
Воротынский.
Когда народ ходил в Девичье поле,
Ты говорил —
Шуйский.
Теперь не время помнить,
Советую порой и забывать.
А впрочем я злословием притворным
Тогда желал тебя лишь испытать,
Верней узнать твой тайный образ мыслей;
Но вот — народ приветствует царя —
Отсутствие мое заметить могут —
Иду за ним.
Воротынский.

Лукавый царедворец!

Ночь. Келья в Чудовом монастыре.
(1603 года.)
Отец Пимен, Григорий спящий.
Пимен *(пишет перед лампадой).*
Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя,
Исполнен долг, завещанный от Бога
Мне грешному. Недаром многих лет
Свидетелем Господь меня поставил
И книжному искусству вразумил;
Когда-нибудь монах трудолюбивый
Найдет мой труд усердный, безымянный,
Засветит он, как я, свою лампаду —
И, пыль веков от хартий отряхнув,
Правдивые сказанья перепишет,
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.
На старости я сызнова живу,
Минувшее проходит предо мною —
Давно ль оно неслось событий полно,
Волнуяся, как море-окиян?
Теперь оно безмолвно и спокойно,

Не много лиц мне память сохранила,
Не много слов доходят до меня,
А прочее погибло невозвратно…
Но близок день, лампада догорает —
Еще одно последнее сказанье. *(Пишет.)*
Григорий *(пробуждается).*
Всё тот же сон! возможно ль? в третий раз!
Проклятый сон!… А всё перед лампадой
Старик сидит, да пишет — и дремотой
Знать во всю ночь он не смыкал очей.
Как я люблю его спокойный вид,
Когда, душой в минувшем погруженный,
Он летопись свою ведет; и часто
Я угадать хотел, о чем он пишет?
О темном ли владычестве татар?
О казнях ли свирепых Иоанна?
О бурном ли новогородском Вече?
О славе ли отечества? напрасно.
Ни на челе высоком, ни во взорах
Нельзя прочесть его сокрытых дум;
Всё тот же вид смиренный, величавый.
Так точно дьяк в приказах поседелый
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева.
Пимен.

Проснулся, брат.
Григорий.
Благослови меня,
Честный отец.
Пимен.
Благослови Господь
Тебя и днесь и присно и во веки.
Григорий.
Ты всё писал и сном не позабылся,
А мой покой бесовское мечтанье
Тревожило, и враг меня мутил.
Мне снилося, что лестница крутая
Меня вела на башню; с высоты
Мне виделась Москва, что муравейник;
Внизу народ на площади кипел
И на меня указывал со смехом,
И стыдно мне и страшно становилось —
И, падая стремглав, я пробуждался…
И три раза мне снился тот же сон.
Не чудно ли?
Пимен.
Младая кровь играет;
Смиряй себя молитвой и постом,
И сны твои видений легких будут
Исполнены. Доныне — если я,
Невольною дремотой обессилен,

Не сотворю молитвы долгой к ночи —
Мой старый сон не тих и не безгрешен,
Мне чудятся то шумные пиры,
То ратный стан, то схватки боевые,
Безумные потехи юных лет!
Григорий.
Как весело провел свою ты младость!
Ты воевал под башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйском отражал,
Ты видел двор и роскошь Иоанна!
Счастлив! а я, от отроческих лет
По келиям скитаюсь, бедный инок!
Зачем и мне не тешиться в боях,
Не пировать за царскою трапезой?
Успел бы я, как ты, на старость лет
От суеты, от мира отложиться,
Произнести монашества обет
И в тихую обитель затвориться.
Пимен.
Не сетуй, брат, что рано грешный свет
Покинул ты, что мало искушений
Послал тебе Всевышний. Верь ты мне:
Нас издали пленяет слава, роскошь
И женская лукавая любовь.
Я долго жил и многим насладился;
Но с той поры лишь ведаю блаженство,

Как в монастырь Господь меня привел.
Подумай, сын, ты о царях великих.
Кто выше их? Единый Бог. Кто смеет
Противу их? Никто. А что же? Часто
Златый венец тяжел им становился:
Они его меняли на клобук.
Царь Иоанн искал успокоенья
В подобии монашеских трудов.
Его дворец, любимцев гордых полный,
Монастыря вид новый принимал:
Кромешники в тафьях и власяницах
Послушными являлись чернецами,
А грозный царь игуменом смиренным.
Я видел здесь — вот в этой самой келье
(В ней жил тогда Кирилл многострадальный,
Муж праведный. Тогда уж и меня
Сподобил Бог уразуметь ничтожность
Мирских сует), здесь видел я царя,
Усталого от гневных дум и казней.
Задумчив, тих сидел меж нами Грозный,
Мы перед ним недвижимо стояли
И тихо он беседу с нами вел.
Он говорил игумену и братьи:
«Отцы мои, желанный день придет,
Предстану здесь алкающий спасенья.
Ты Никодим, ты Сергий, ты Кирилл,

Вы все — обет примите мой духовный:
Прииду к вам преступник окаянный
И схиму здесь честную восприму,
К стопам твоим, святый отец, припадши».
Так говорил державный государь,
И сладко речь из уст его лилася —
И плакал он. А мы в слезах молились,
Да ниспошлет Господь любовь и мир
Его душе страдающей и бурной.
А сын его Феодор? На престоле
Он воздыхал о мирном житие
Молчальника. Он царские чертоги
Преобратил в молитвенную келью;
Там тяжкие, державные печали
Святой души его не возмущали.
Бог возлюбил смирение царя,
И Русь при нем во славе безмятежной
Утешилась — а в час его кончины
Свершилося неслыханное чудо:
К его одру, царю едину зримый,
Явился муж необычайно светел,
И начал с ним беседовать Феодор
И называть великим патриархом.
И все кругом объяты были страхом,
Уразумев небесное виденье,
Зане святый владыка пред царем

Во храмине тогда не находился.
Когда же он преставился, палаты
Исполнились святым благоуханьем
И лик его как солнце просиял —
Уж не видать такого нам царя.
О страшное, невиданное горе!
Прогневали мы Бога, согрешили:
Владыкою себе цареубийцу
Мы нарекли.
Григорий.
Давно, честный отец,
Хотелось мне спросить о смерти
Димитрия-царевича; в то время
Ты, говорят, был в Угличе.
Пимен.
Ох, помню!
Привел меня Бог видеть злое дело,
Кровавый грех. Тогда я в дальний Углич
На некое был послан послушанье,
Пришел я в ночь. На утро в час обедни
Вдруг слышу звон, ударили в набат,
Крик, шум. Бегут на двор царицы. Я
Спешу туда ж — а там уже весь город.
Гляжу: лежит зарезанный царевич;
Царица мать в беспамятстве над ним,
Кормилица в отчаяньи рыдает,

А тут народ остервенясь волочит
Безбожную предательницу-мамку…
Вдруг между их, свиреп, от злости бледен,
Является Иуда Битяговский.
«Вот, вот злодей!» раздался общий вопль,
И вмиг его не стало. Тут народ
Вслед бросился бежавшим трем убийцам;
Укрывшихся злодеев захватили
И привели пред теплый труп младенца,
И чудо — вдруг мертвец затрепетал —
«Покайтеся!» народ им завопил:
И в ужасе под топором злодеи
Покаялись — и назвали Бориса.
Григорий.
Каких был лет царевич убиенный?
Пимен.
Да лет семи; ему бы ныне было —
(Тому прошло уж десять лет… нет больше:
Двенадцать лет) — он был бы твой ровесник
И царствовал; но Бог судил иное.
Сей повестью плачевной заключу
Я летопись мою; с тех пор я мало
Вникал в дела мирские. Брат Григорий,
Ты грамотой свой разум просветил,
Тебе свой труд передаю. В часы
Свободные от подвигов духовных

Описывай, не мудрствуя лукаво,
Всё то, чему свидетель в жизни будешь:
Войну и мир, управу государей,
Угодников святые чудеса,
Пророчества и знаменья небесны —
А мне пора, пора уж отдохнуть
И погасить лампаду… Но звонят
К заутрене… благослови, Господь,
Своих рабов!… подай костыль, Григорий.
(Уходит.)
Григорий.
Борис, Борис! всё пред тобой трепещет,
Никто тебе не смеет и напомнить
О жребии несчастного младенца —
А между тем отшельник в темной кельи
Здесь на тебя донос ужасный пишет:
И не уйдешь ты от суда мирского,
Как не уйдешь от Божьего суда.

Палаты патриарха.

Патриарх, игумен Чудова монастыря.

Патриарх.

И он убежал, отец игумен?

Игумен.

Убежал, святый владыко. Вот уж тому третий день.

Патриарх.

Пострел, окаянный! Да какого он роду?

Игумен.

Из роду Отрепьевых, галицких боярских детей. Смолоду постригся неведомо где, жил в Суздале, в Ефимьевском монастыре, ушел оттуда, шатался по разным обителям, наконец пришел к моей чудовской братии, а я, видя, что он еще млад и неразумен, отдал его под начал отцу Пимену, старцу кроткому и смиренному; и был он весьма грамотен; читал наши летописи, сочинял каноны святым; но знать грамота далася ему не от Господа Бога…

Патриарх.

Уж эти мне грамотеи! что еще выдумал! *буду царем на Москве!* Ах, он сосуд диавольский! Однако нечего царю и докладывать об этом; что тревожить отца-государя? Довольно будет объявить о побеге дьяку Смирнову али дьяку

Ефимьеву; эдака ересь! *буду царем на Москве!*... Поймать, поймать врагоугодника, да и сослать в Соловецкий на вечное покаяние. Ведь это ересь, отец игумен.

Игумен.

Ересь, святый владыко, сущая ересь.

Царские палаты.
Два стольника.
Первый.
Где государь?
Второй.
В своей опочивальне
Он заперся с каким-то колдуном.
Первый.
Так, вот его любимая беседа:
Кудесники, гадатели, колдуньи. —
Всё ворожит, что красная невеста.
Желал бы знать, о чем гадает он?
Второй.
Вот он идет. Угодно ли спросить?
Первый.
Как он угрюм!
(Уходят.)
Царь *(входит).*
Достиг я высшей власти;
Шестой уж год я царствую спокойно.
Но счастья нет моей душе. Не так ли
Мы с молоду влюбляемся и алчем
Утех любви, но только утолим
Сердечный глад мгновенным обладаньем,
Уж охладев, скучаем и томимся?…
Напрасно мне кудесники сулят

Дни долгие, дни власти безмятежной —
Ни власть, ни жизнь меня не веселят;
Предчувствую небесный гром и горе.
Мне счастья нет. Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать —
Но отложил пустое попеченье:
Живая власть для черни ненавистна.
Они любить умеют только мертвых —
Безумны мы, когда народный плеск
Иль ярый вопль тревожит сердце наше!
Бог насылал на землю нашу глад,
Народ завыл, в мученьях погибая;
Я отворил им житницы, я злато
Рассыпал им, я им сыскал работы —
Они ж меня, беснуясь, проклинали!
Пожарный огнь их домы истребил,
Я выстроил им новые жилища.
Они ж меня пожаром упрекали!
Вот черни суд: ищи ж ее любви.
В семье моей я мнил найти отраду,
Я дочь мою мнил осчастливить браком —
Как буря, смерть уносит жениха…
И тут молва лукаво нарекает
Виновником дочернего вдовства
Меня, меня, несчастного отца!…

Кто ни умрет, я всех убийца тайный:
Я ускорил Феодора кончину,
Я отравил свою сестру царицу —
Монахиню смиренную… всё я!
Ах! чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто… едина разве совесть.
Так, здравая, она восторжествует
Над злобою, над темной клеветою —
Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелося;
Тогда — беда! как язвой моровой
Душа сгорит, нальется сердце ядом,
Как молотком стучит в ушах упрек,
И всё тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах…
И рад бежать, да некуда… ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

Корчма на Литовской границе.

Мисаил и Варлаам, бродяги-чернецы; Григорий Отрепьев, мирянином; хозяйка.

Хозяйка.

Чем-то мне вас потчивать, старцы честные?

Варлаам.

Чем Бог пошлет, хозяюшка. Нет ли вина?

Хозяйка.

Как не быть, отцы мои! сейчас вынесу.

(Уходит.)

Мисаил.

Что ж ты закручинился, товарищ? Вот и граница Литовская, до которой так хотелось тебе добраться.

Григорий.

Пока не буду в Литве, до тех пор не буду спокоен.

Варлаам.

Что тебе Литва так слюбилась? Вот мы, отец Мисаил, да я грешный, как утекли из монастыря, так ни о чем уж и не думаем. Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли: всё нам равно, было бы вино… да вот и оно!..

Мисаил.

Складно сказано, отец Варлаам.

Хозяйка *(входит)*.

Вот вам, отцы мои. Пейте на здоровье.

Мисаил.

Спасибо, родная, Бог тебя благослови.

(Монахи пьют; Варлаам затягивает песню: Как во городе было во Казани…)

Варлаам *(Григорию)*.

Что же ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь?

Григорий.

Не хочу.

Мисаил.

Вольному воля…

Варлаам.

А пьяному рай, отец Мисаил! Выпьем же чарочку за шинкарочку…

Однако, отец Мисаил, когда я пью, так трезвых не люблю; ино дело пьянство, а иное чванство; хочешь жить как мы, милости просим — нет, так убирайся, проваливай: скоморох попу не товарищ.

Григорий.

Пей, да про себя разумей, отец Варлаам! Видишь: и я порой складно говорить умею.

Варлаам.

А что мне про себя разуметь?

Мисаил.

Оставь его, отец Варлаам.

Варлаам.

Да что он за постник? Сам же к нам навязался в товарищи, неведомо кто, неведомо откуда — да еще и спесивится; может быть кобылу нюхал…

(Пьет и поет: Молодой чернец постригся.)

Григорий *(хозяйке)*.

Куда ведет эта дорога?

Хозяйка.

В Литву, мой кормилец, к Луёвым горам.

Григорий.

А далече ли до Луёвых гор?

Хозяйка.

Недалече, к вечеру можно бы туда поспеть, кабы не заставы царские, да сторожевые приставы.

Григорий.

Как, заставы! что это значит?

Хозяйка.

Кто-то бежал из Москвы, а велено всех задерживать, да осматривать.

Григорий *(про себя)*.

Вот тебе, бабушка, Юрьев день.

Варлаам.

Эй, товарищ! да ты к хозяйке присуседился. Знать не нужна тебе водка, а нужна молодка, дело, брат, дело! у всякого свой обычай; а у нас с

отцом Мисаилом одна заботушка: пьем до донушка, выпьем, поворотим и в донушко поколотим.

Мисаил.

Складно сказано, отец Варлаам…

Григорий.

Да кого ж им надобно? Кто бежал из Москвы?

Хозяйка.

А Господь его ведает, вор ли, разбойник — только здесь и добрым людям нынче прохода нет — а что из того будет? ничего; ни лысого беса не поймают: будто в Литву нет и другого пути, как столбовая дорога! Вот хоть отсюда сверни влево, да бором иди по тропинке до часовни, что на Чеканском ручью, а там прямо через болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево, а тут уж всякий мальчишка доведет до Луёвых гор. От этих приставов только и толку, что притесняют прохожих да обирают нас бедных. *(Слышен шум.)* Что там еще? ах вот они, проклятые! дозором идут.

Григорий.

Хозяйка! нет ли в избе другого угла?

Хозяйка.

Нету, родимый. Рада бы сама спрятаться. Только слава, что дозором ходят, а подавай им и вина и хлеба, и неведомо чего — чтоб им издохнуть, окаянным! чтоб им…

(Входят приставы.)

Пристав.

Здорово, хозяйка!

Хозяйка.

Добро пожаловать, гости дорогие, милости просим.

Один пристав *(другому)*.

Ба! да здесь попойка идет; будет чем поживиться. *(Монахам.)* Вы что за люди?

Варлаам.

Мы божии старцы, иноки смиренные, ходим по селениям да собираем милостыню христианскую на монастырь.

Пристав *(Григорию)*.

А ты?

Мисаил.

Наш товарищ…

Григорий.

Мирянин из пригорода; проводил старцев до рубежа, отселе иду восвояси.

Мисаил.

Так ты раздумал……

Григорий *(тихо)*.

Молчи.

Пристав.

Хозяйка, выставь-ка еще вина — а мы здесь со

старцами попьем да побеседуем.

Другой пристав *(тихо)*.

Парень-то, кажется, гол, с него взять нечего; зато старцы…

Первый.

Молчи, сей час до них доберемся. — Что, отцы мои? каково промышляете?

Варлаам.

Плохо, сыне, плохо! ныне христиане стали скупы; деньгу любят, деньгу прячут. Мало Богу дают. Прииде грех велий на языцы земнии. Все пустилися в торги, в мытарства; думают о мирском богатстве, не о спасении души. Ходишь, ходишь; молишь, молишь; иногда в три дни трех полушек не вымолишь. Такой грех! Пройдет неделя, другая, заглянешь в мошонку, ан в ней так мало, что совестно в монастырь показаться; что делать? с горя и остальное пропьешь; беда да и только. — Ох плохо, знать пришли наши последние времена…

Хозяйка *(плачет)*.

Господь помилуй и спаси!

(В продолжении Варлаамовой речи, первый пристав значительно всматривается в Мисаила.)

Первый пристав.

Алеха! при тебе ли царский указ?

Второй.

При мне.

Первый.

Подай-ка сюда.

Мисаил.

Что ты на меня так пристально смотришь?

Первый пристав.

А вот что: из Москвы бежал некоторый злой еретик, Гришка Отрепьев, слыхал ли ты это?

Мисаил.

Не слыхал.

Пристав.

Не слыхал? ладно. А того беглого еретика царь приказал изловить и повесить. Знаешь ли ты это?

Мисаил.

Не знаю.

Пристав *(Варлааму)*.

Умеешь ли ты читать?

Варлаам.

Смолоду знал, да разучился.

Пристав *(Мисаилу)*.

А ты?

Мисаил.

Не умудрил Господь.

Пристав.

Так вот тебе царский указ.

Мисаил.

На что мне его?

Пристав.

Мне сдается, что этот беглый еретик, вор, мошенник — ты.

Мисаил.

Я! помилуй! что ты?

Пристав.

Постой! держи двери. Вот мы сей час и справимся.

Хозяйка.

Ах, они окаянные мучители! и старца-то в покое не оставят!

Пристав.

Кто здесь грамотный?

Григорий *(выступает вперед)*.

Я грамотный.

Пристав.

Вот на! А у кого же ты научился?

Григорий.

У нашего пономаря.

Пристав *(дает ему указ)*.

Читай же в слух.

Григорий *(читает)*.

«Чудова монастыря недостойный чернец Григо-

рий, из роду Отрепьевых, впал в ересь и дерзнул, наученный диаволом, возмущать святую братию всякими соблазнами и беззакониями. А по справкам оказалось, отбежал он, окаянный Гришка, к границе Литовской…»

Пристав *(Мисаилу)*.

Как же не ты?

Григорий.

«И царь повелел изловить его…»

Пристав.

И повесить.

Григорий.

Тут не сказано *повесить*.

Пристав.

Врешь: не всяко слово в строку пишется. Читай: изловить и повесить.

Григорий.

«И повесить. А лет ему вору Гришке от роду… *(смотря на Варлаама)* за 50. А росту он среднего, лоб имеет плешивый, бороду седую, брюхо толстое…»

(Все глядят на Варлаама.)

Первый пристав.

Ребята! здесь Гришка! держите, вяжите его! Вот уж не думал, не гадал.

Варлаам *(вырывая бумагу)*.

Отстаньте, сукины дети! что я за Гришка? — как! 50 лет, борода седая, брюхо толстое! нет, брат! молод еще надо мною шутки шутить. Я давно не читывал и худо разбираю, а тут уж разберу, как дело до петли доходит. *(Читает по складам.)* «А-лет е-му от-ро-ду… 20». — Что брат? где тут 50? видишь? 20.

Второй пристав.

Да, помнится, двадцать. Так и нам было сказано.

Первый пристав *(Григорию)*.

Да ты, брат, видно забавник.

(Во время чтения, Григорий стоит потупя голову, с рукою за пазухой.)

Варлаам *(продолжает)*.

«А ростом он мал, грудь широкая, одна рука короче другой, глаза голубые, волоса рыжие, на щеке бородавка, на лбу другая». Да это, друг, уж не ты ли?

(Григорий вдруг вынимает кинжал; все перед ним расступаются, он бросается в окно.)

Приставы.

Держи! держи!

(Все бегут в беспорядке.)

Москва. Дом Шуйского.
Шуйский, множество гостей. Ужин.
Шуйский.
Вина еще.
(Встает, за ним и все.)
Ну, гости дорогие,
Последний ковш! Читай молитву, мальчик.
Мальчик.
Царю небес, везде и присно сущий,
Своих рабов молению внемли:
Помолимся о нашем государе,
Об избранном тобой, благочестивом
Всех христиан царе самодержавном.
Храни его в палатах, в поле ратном,
И на путях, и на одре ночлега.
Подай ему победу на враги,
Да славится он от моря до моря.
Да здравием цветет его семья,
Да осенят ее драгие ветви
Весь мир земной — а к нам, своим рабам,
Да будет он, как прежде, благодатен,
И милостив и долготерпелив,
Да мудрости его неистощимой
Проистекут источники на нас;
И, царскую на то воздвигнув чашу,
Мы молимся тебе, царю небес.

Шуйский *(пьет).*

Да здравствует великий государь!

Простите же вы, гости дорогие;

Благодарю, что вы моей хлеб-солью

Не презрели. Простите, добрый сон.

(Гости уходят, он провожает их до дверей.)

Пушкин.

Насилу убрались; ну, князь Василий Иванович, я уж думал, что нам не удастся и переговорить.

Шуйский *(слугам).*

Вы что рот разинули? Всё бы вам господ подслушивать. — Сбирайте со стола да ступайте вон. — Что такое, Афанасий Михайлович?

Пушкин.

Чудеса да и только.

Племянник мой, Гаврила Пушкин, мне

Из Кракова гонца прислал сегодня.

Шуйский.

Ну.

Пушкин.

Странную племянник пишет новость.

Сын Грозного… постой.

(Идет к дверям и осматривает.)

Державный отрок,

По манию Бориса убиенный…

Шуйский.

Да это уж не ново.
Пушкин.
Погоди:
Димитрий жив.
Шуйский.
Вот-на! какая весть!
Царевич жив! ну подлинно чудесно.
И только-то?
Пушкин.
Послушай до конца.
Кто б ни был он, спасенный ли царевич,
Иль некий дух во образе его,
Иль смелый плут, бесстыдный самозванец,
Но только там Димитрий появился.
Шуйский.
Не может быть.
Пушкин.
Его сам Пушкин видел,
Как приезжал впервой он во дворец
И сквозь ряды литовских панов прямо
Шел в тайную палату короля.
Шуйский.
Кто ж он такой? откуда он?
Пушкин.
Не знают.
Известно то, что он слугою был

У Вишневецкого, что на одре болезни
Открылся он духовному отцу,
Что гордый пан, его проведав тайну,
Ходил за ним, поднял его с одра
И с ним потом уехал к Сигизмунду.
Шуйский.
Что ж говорят об этом удальце?
Пушкин.
Да слышно он умен, приветлив, ловок,
По нраву всем. Московских беглецов
Обворожил. Латинские попы
С ним заодно. Король его ласкает
И говорят, помогу обещал.
Шуйский.
Все это, брат, такая кутерьма,
Что голова кругом пойдет невольно.
Сомненья нет, что это самозванец,
Но, признаюсь, опасность не мала.
Весть важная! и если до народа
Она дойдет, то быть грозе великой.
Пушкин.
Такой грозе, что вряд царю Борису
Сдержать венец на умной голове.
И поделом ему! он правит нами,
Как царь Иван (не к ночи будь помянут).
Что пользы в том, что явных казней нет,

Что на колу кровавом, всенародно
Мы не поем канонов Иисусу,
Что нас не жгут на площади, а царь
Своим жезлом не подгребает углей?
Уверены ль мы в бедной жизни нашей?
Нас каждый день опала ожидает,
Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы,
А там — в глуши голодна смерть иль петля.
Знатнейшие меж нами роды — где?
Где Сицкие князья, где Шестуновы,
Романовы, отечества надежда?
Заточены, замучены в изгнаньи.
Дай срок: тебе такая ж будет участь.
Легко ль, скажи! мы дома, как Литвой,
Осаждены неверными рабами;
Всё языки, готовые продать,
Правительством подкупленные воры.
Зависим мы от первого холопа,
Которого захочем наказать.
Вот — Юрьев день задумал уничтожить.
Не властны мы в поместиях своих.
Не смей согнать ленивца! Рад не рад,
Корми его; не смей переманить
Работника! — Не то, в Приказ Холопий.
Ну, слыхано ль хоть при царе Иване
Такое зло? А легче ли народу?

Спроси его. Попробуй самозванец
Им посулить старинный Юрьев день,
Так и пойдет потеха.
Шуйский.
Прав ты, Пушкин.
Но знаешь ли? Об этом обо всем
Мы помолчим до времени.
Пушкин.
Вестимо,
Знай про себя. Ты человек разумный;
Всегда с тобой беседовать я рад,
И если что меня подчас тревожит,
Не вытерплю, чтоб не сказать тебе.
К тому ж твой мед, да бархатное пиво
Сегодня так язык мне развязали…
Прощай же, князь.
Шуйский.
Прощай, брат, до свиданья.
(Провожает Пушкина.)

Царские палаты.

Царевич, чертит географическую карту.

Царевна, мамка царевны.

Ксения *(целует портрет).*

Милый мой жених, прекрасный королевич, не мне ты достался, не своей невесте — а темной могилке, на чужой сторонке. Никогда не утешусь, вечно по тебе буду плакать.

Мамка.

И, царевна! девица плачет, что роса падет; взойдет солнце, росу высушит. Будет у тебя другой жених и прекрасный и приветливый. Полюбишь его, дитя наше ненаглядное, забудешь своего королевича.

Ксения.

Нет, мамушка, я и мертвому буду ему верна.

(Входит Борис.)

Царь.

Что Ксения? что милая моя?
В невестах уж печальная вдовица!
Всё плачешь ты о мертвом женихе.
Дитя мое! судьба мне не судила
Виновником быть вашего блаженства.
Я может быть прогневал небеса,
Я счастие твое не мог устроить.
Безвинная, зачем же ты страдаешь? —

А ты, мой сын, чем занят? Это что?
Феодор.
Чертеж земли московской; наше царство
Из края в край. Вот видишь: тут Москва,
Тут Новгород, тут Астрахань. Вот море,
Вот пермские дремучие леса,
А вот Сибирь.
Царь.
А это что такое
Узором здесь вается?
Феодор.
Это Волга.
Царь.
Как хорошо! вот сладкий плод ученья!
Как с облаков ты можешь обозреть
Всё царство вдруг: границы, грады, реки.
Учись, мой сын: наука сокращает
Нам опыты быстротекущей жизни —
Когда-нибудь, и скоро может быть,
Все области, которые ты ныне
Изобразил так хитро на бумаге,
Все под руку достанутся твою.
Учись, мой сын, и легче и яснее
Державный труд ты будешь постигать.
(Входит Семен Годунов.)
Вот Годунов идет ко мне с докладом.

(Ксении.) Душа моя, поди в свою светлицу;
Прости, мой друг. Утешь тебя Господь.
(Ксения с мамкою уходит.)
Что скажешь мне, Семен Никитич?
Семен Годунов.
Нынче
Ко мне, чем свет, дворецкий князь-Василья
И Пушкина слуга пришли с доносом.
Царь.
Ну.
Семен Годунов.
Пушкина слуга донес сперва,
Что поутру вчера к ним в дом приехал
Из Кракова гонец — и через час
Без грамоты отослан был обратно.
Царь.
Гонца схватить.
Семен Годунов.
Уж послано в догоню.
Царь.
О Шуйском что?
Семен Годунов.
Вечор он угощал
Своих друзей, обоих Милославских,
Бутурлиных, Михайла Салтыкова,
Да Пушкина — да несколько других;

А разошлись уж поздно. Только Пушкин
Наедине с хозяином остался
И долго с ним беседовал еще.
Царь.
Сейчас послать за Шуйским.
Семен Годунов.
Государь!
Он здесь уже.
Царь.
Позвать его сюда.
(Годунов уходит.)
Царь.
Сношения с Литвою! это что?...
Противен мне род Пушкиных мятежный,
А Шуйскому не должно доверять:
Уклончивый, но смелый и лукавый...
(Входит Шуйский.)
Мне нужно, князь, с тобою говорить.
Но кажется — ты сам пришел за делом:
И выслушать хочу тебя сперва.
Шуйский.
Так, государь: мой долг тебе поведать
Весть важную.
Царь.
Я слушаю тебя.
Шуйский *(тихо, указывая на Феодора).*

Но, государь…
Царь.
Царевич может знать,
Что ведает князь Шуйский. Говори.
Шуйский.
Царь, из Литвы пришла нам весть…
Царь.
Не та ли,
Что Пушкину привез вечор гонец.
Шуйский.
Всё знает он! — Я думал, государь,
Что ты еще не ведаешь сей тайны.
Царь.
Нет нужды, князь: хочу сообразить
Известия; иначе не узнаем
Мы истинны.
Шуйский.
Я знаю только то,
Что в Кракове явился самозванец,
И что король и паны за него.
Царь.
Что ж говорят? Кто этот самозванец?
Шуйский.
Не ведаю.
Царь.
Но… чем опасен он.

Шуйский.
Конечно, царь: сильна твоя держава,
Ты милостью, раденьем и щедротой
Усыновил сердца своих рабов.
Но знаешь сам: бессмысленная чернь
Изменчива, мятежна, суеверна,
Легко пустой надежде предана,
Мгновенному внушению послушна,
Для истинны глуха и равнодушна,
А баснями питается она.
Ей нравится бесстыдная отвага.
Так если сей неведомый бродяга
Литовскую границу перейдет,
К нему толпу безумцев привлечет
Димитрия воскреснувшее имя.
Царь.
Димитрия!… как? этого младенца!
Димитрия!… Царевич, удались.
Шуйский.
Он покраснел: быть буре!…
Феодор.
Государь,
Дозволишь ли…
Царь.
Нельзя, мой сын, поди.
(Феодор уходит.)

Димитрия!..
Шуйский.
Он ничего не знал.
Царь.
Послушай, князь: взять меры сей же час;
Чтоб от Литвы Россия оградилась
Заставами; чтоб ни одна душа
Не перешла за эту грань; чтоб заяц
Не прибежал из Польши к нам; чтоб ворон
Не прилетел из Кракова. Ступай.
Шуйский.
Иду.
Царь.
Постой. Не правда ль, эта весть
Затейлива? Слыхал ли ты когда,
Чтоб мертвые из гроба выходили
Допрашивать царей, царей законных,
Назначенных, избранных всенародно,
Увенчанных великим патриархом?
Смешно? а? что? что ж не смеешься ты?
Шуйский.
Я, государь?...
Царь.
Послушай, князь Василий:
Как я узнал, что отрока сего...
Что отрок сей лишился как-то жизни,

Ты послан был на следствие: теперь
Тебя крестом и Богом заклинаю,
По совести мне правду объяви:
Узнал ли ты убитого младенца
И не было ль подмена? Отвечай.
Шуйский.
Клянусь тебе…
Царь.
Нет, Шуйский, не клянись,
Но отвечай: то был царевич?
Шуйский.
Он.
Царь.
Подумай, князь. Я милость обещаю,
Прошедшей лжи опалою напрасной
Не накажу. Но если ты теперь
Со мной хитришь, то головою сына
Клянусь — тебя постигнет злая казнь:
Такая казнь, что царь Иван Васильич
От ужаса во гробе содрогнется.
Шуйский.
Не казнь страшна; страшна твоя немилость;
Перед тобой дерзну ли я лукавить?
И мог ли я так слепо обмануться,
Что не узнал Димитрия? Три дня
Я труп его в соборе посещал,

Всем Угличем туда сопровожденный.
Вокруг его тринадцать тел лежало,
Растерзанных народом, и по ним
Уж тление приметно проступало,
Но детский лик царевича был ясен
И свеж и тих, как будто усыпленный;
Глубокая не запекалась язва,
Черты ж лица совсем не изменились.
Нет, государь, сомненья нет: Димитрий
Во гробе спит.
Царь *(спокойно).*
Довольно; удались.
(Шуйский уходит.)
Ух, тяжело!… дай дух переведу —
Я чувствовал: вся кровь моя в лицо
Мне кинулась — и тяжко опускалась…
Так вот зачем тринадцать лет мне сряду
Всё снилося убитое дитя!
Да, да — вот что! теперь я понимаю.
Но кто же он, мой грозный супостат?
Кто на меня? Пустое имя, тень —
Ужели тень сорвет с меня порфиру,
Иль звук лишит детей моих наследства?
Безумец я! чего ж я испугался?
На призрак сей подуй — и нет его.
Так решено: не окажу я страха —

Но презирать не должно ничего… —
Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!

Краков. Дом Вишневецкого.

Самозванец и Pater Черниковский.

Самозванец.

Нет, мой отец, не будет затрудненья;
Я знаю дух народа моего;
В нем набожность не знает исступленья:
Ему священ пример царя его.
Всегда, к тому ж, терпимость равнодушна.
Ручаюсь я, что прежде двух годов
Весь мой народ, вся северная церковь
Признают власть наместника Петра.

Pater.

Вспомоществуй тебе святый Игнатий,
Когда придут иные времена.
А между тем небесной благодати
Таи в душе, царевич, семена.
Притворствовать пред оглашенным светом
Нам иногда духовный долг велит;
Твои слова, деянья судят люди,
Намеренья единый видит Бог.

Самозванец.

Аминь. Кто там!

(Входит слуга.)

Сказать: мы принимаем.

(Отворяются двери; входит толпа русских и поляков.)

Товарищи! мы выступаем завтра
Из Кракова. Я, Мнишек, у тебя
Остановлюсь в Самборе на три дня.
Я знаю: твой гостеприимный замок
И пышностью блистает благородной
И славится хозяйкой молодой —
Прелестную Марину я надеюсь
Увидеть там. А вы, мои друзья,
Литва и Русь, вы, братские знамена
Поднявшие на общего врага,
На моего коварного злодея,
Сыны славян, я скоро поведу
В желанный бой дружины ваши грозны. —
Но между вас я вижу новы лица.
Гаврила Пушкин.
Они пришли у милости твоей
Просить меча и службы.
Самозванец.
Рад вам, дети.
Ко мне, друзья. — Но кто, скажи мне, Пушкин,
Красавец сей?
Пушкин.
Князь Курбский.
Самозванец.
Имя громко!
(Курбскому.) Ты родственник казанскому ге-

рою?
Курбский.
Я сын его.
Самозванец
Он жив еще?
Курбский.
Нет, умер.
Самозванец.
Великий ум! муж битвы и совета!
Но с той поры, когда являлся он,
Своих обид ожесточенный мститель,
С литовцами под ветхий город Ольгин,
Молва об нем умолкла.
Курбский.
Мой отец
В Волынии провел остаток жизни,
В поместиях, дарованных ему
Баторием. Уединен и тих,
В науках он искал себе отрады;
Но мирный труд его не утешал:
Он юности своей отчизну помнил,
И до конца по ней он тосковал.
Самозванец.
Несчастный вождь! как ярко просиял
Восход его шумящей, бурной жизни.
Я радуюсь, великородный витязь,

Что кровь его с отечеством мирится.
Вины отцов не должно вспоминать;
Мир гробу их! приближься, Курбский. Руку!
— Не странно ли? сын Курбского ведет
На трон, кого? да — сына Иоанна…
Всё за меня: и люди и судьба. —
Ты кто такой?
Поляк.
Собаньский, шляхтич вольный.
Самозванец.
Хвала и честь тебе, свободы чадо!
Вперед ему треть жалованья выдать. —
Но эти кто? я узнаю на них
Земли родной одежду. Это наши.
Хрущов *(бьет челом).*
Так, государь, отец наш. Мы твои
Усердные, гонимые холопья.
Мы из Москвы, опальные, бежали
К тебе, наш царь — и за тебя готовы
Главами лечь, да будут наши трупы
На царской трон ступенями тебе.
Самозванец.
Мужайтеся, безвинные страдальцы —
Лишь дайте мне добраться до Москвы,
А там Борис расплатится во всем.
Ты кто?

Карела.
Казак. К тебе я с Дона послан
От вольных войск, от храбрых атаманов,
От казаков верховых и низовых,
Узреть твои царевы ясны очи
И кланяться тебе их головами.
Самозванец.
Я знал донцов. Не сомневался видеть
В своих рядах казачьи бунчуки.
Благодарим Донское наше войско.
Мы ведаем, что ныне казаки
Неправедно притеснены, гонимы;
Но если Бог поможет нам вступить
На трон отцов, то мы по старине
Пожалуем наш верный вольный Дон.
Поэт *(приближается, кланяясь низко и хватая Гришку за полу).*
Великий принц, светлейший королевич!
Самозванец.
Что хочешь ты?
Поэт *(подает ему бумагу).*
Примите благосклонно
Сей бедный плод усердного труда.
Самозванец.
Что вижу я? Латинские стихи!
Стократ священ союз меча и лиры,

Единый лавр их дружно обвивает.
Родился я под небом полунощным,
Но мне знаком латинской Музы голос,
И я люблю парнасские цветы.
Я верую в пророчества пиитов.
Нет, не вотще в их пламенной груди
Кипит восторг: благословится подвиг,
Егож они прославили заране!
Приближься, друг. В мое воспоминанье
Прими сей дар.
(Дает ему перстень.)
Когда со мной свершится
Судьбы завет, когда корону предков
Надену я; надеюсь вновь услышать
Твой сладкий глас, твой вдохновенный гимн.
Musa gloriam coronat, gloriaque musam[10].
Итак, друзья, до завтра, до свиданья.
Все.
В поход, в поход! Да здравствует Димитрий,
Да здравствует великий князь московский!

Замок воеводы Мнишка в Самборе.

(Ряд освещенных комнат. Музыка.)

Вишневецкий, Мнишек.

Мнишек.

Он говорит с одной моей Мариной,
Мариною одною занят он…
А дело-то на свадьбу страх похоже;
Ну — думал ты, признайся, Вишневецкий,
Что дочь моя царицей будет? а?

Вишневецкий.

Да, чудеса… и думал ли ты, Мнишек,
Что мой слуга взойдет на трон московской?

Мнишек.

А какова, скажи, моя Марина?
Я только ей промолвил: ну, смотри!
Не упускай Димитрия!… и вот
Всё кончено. Уж он в ее сетях.

(Музыка играет Польской. Самозванец идет с Мариною в первой паре.)

Марина *(тихо Димитрию).*

Да, ввечеру, в одиннадцать часов,
В аллее лип, я завтра у фонтана.

(Расходятся. Другая пара.)

Кавалер.

Что в ней нашел Димитрий?

Дама.

Как! она
Красавица.
Кавалер.
Да, мраморная нимфа:
Глаза, уста без жизни, без улыбки…
(Новая пара.)
Дама.
Он не красив, но вид его приятен
И царская порода в нем видна.
(Новая пара.)
Дама.
Когда ж поход?
Кавалер.
Когда велит царевич,
Готовы мы; но видно, панна Мнишек
С Димитрием задержит нас в плену.
Дама.
Приятный плен.
Кавалер.
Конечно, если вы…
(Расходятся. Комнаты пустеют.)
Мнишек.
Мы, старики, уж нынче не танцуем,
Музыки гром не призывает нас,
Прелестных рук не жмем и не целуем —
Ох, не забыл старинных я проказ!

Теперь не то, не то, что прежде было:
И молодежь, ей-ей — не так смела,
И красота не так уж весела —
Признайся, друг: всё как-то приуныло.
Оставим их; пойдем, товарищ мой,
Венгерского, обросшую травой,
Велим отрыть бутылку вековую,
Да в уголку потянем-ка вдвоем
Душистый ток, струю, как жир, густую,
А между тем посудим кой о чем.
Пойдем же, брат.
Вишневецкий.
И дело, друг, пойдем.

Ночь. Сад. Фонтан.
Самозванец *(входит)*.
Вот и фонтан; она сюда придет.
Я кажется рожден не боязливым;
Перед собой вблизи видал я смерть,
Пред смертию душа не содрогалась.
Мне вечная неволя угрожала,
За мной гнались — я духом не смутился
И дерзостью неволи избежал.
Но что ж теперь теснит мое дыханье?
Что значит сей неодолимый трепет?
Иль это дрожь желаний напряженных?
Нет — это страх. День целый ожидал
Я тайного свидания с Мариной,
Обдумывал всё то, что ей скажу,
Как обольщу ее надменный ум,
Как назову московскою царицей —
Но час настал — и ничего не помню.
Не нахожу затверженных речей;
Любовь мутит мое воображенье…
Но что-то вдруг мелькнуло… шорох… тише…
Нет, это свет обманчивой луны,
И прошумел здесь ветерок.
Марина *(входит)*.
Царевич!
Самозванец.

Она!… Вся кровь во мне остановилась.
Марина.
Димитрий! Вы?
Самозванец.
Волшебный, сладкий голос!
(Идет к ней.) Ты ль наконец? Тебя ли вижу я,
Одну со мной, под сенью тихой ночи?
Как медленно катился скучный день!
Как медленно заря вечерня гасла!
Как долго ждал во мраке я ночном!
Марина.
Часы бегут, и дорого мне время —
Я здесь тебе назначила свиданье
Не для того, чтоб слушать нежны речи
Любовника. Слова не нужны. Верю,
Что любишь ты; но слушай: я решилась
С твоей судьбой и бурной и неверной
Соединить судьбу мою; то вправе
Я требовать, Димитрий, одного:
Я требую, чтоб ты души своей
Мне тайные открыл теперь надежды,
Намеренья и даже опасенья —
Чтоб об руку с тобой могла я смело
Пуститься в жизнь — не с детской слепотой,
Не как раба желаний легких мужа,
Наложница безмолвная твоя —

Но как тебя достойная супруга,
Помощница московского царя.
Самозванец.
О дай забыть хоть на единый час
Моей судьбы заботы и тревоги!
Забудь сама, что видишь пред собой
Царевича. Марина! зри во мне
Любовника, избранного тобою,
Счастливого твоим единым взором —
О, выслушай моления любви,
Дай высказать всё то, чем сердце полно.
Марина.
Не время, князь. Ты медлишь — и меж тем
Приверженность твоих клевретов стынет,
Час от часу опасность и труды
Становятся опасней и труднее,
Уж носятся сомнительные слухи,
Уж новизна сменяет новизну;
А Годунов свои приемлет меры…
Самозванец.
Что Годунов? во власти ли Бориса
Твоя любовь, одно мое блаженство?
Нет, нет. Теперь гляжу я равнодушно
На трон его, на царственную власть.
Твоя любовь… что без нее мне жизнь,
И славы блеск, и русская держава?

В глухой степи, в землянке бедной — ты,
Ты заменишь мне царскую корону,
Твоя любовь…
Марина.
Стыдись; не забывай
Высокого, святого назначенья:
Тебе твой сан дороже должен быть
Всех радостей, всех обольщений жизни,
Его ни с чем не можешь ты равнять.
Не юноше кипящему, безумно
Плененному моею красотой,
Знай: отдаю торжественно я руку
Наследнику московского престола,
Царевичу, спасенному судьбой.
Самозванец.
Не мучь меня, прелестная Марина,
Не говори, что сан, а не меня
Избрала ты. Марина! ты не знаешь,
Как больно тем ты сердце мне язвишь —
Как! ежели… о страшное сомненье! —
Скажи: когда б не царское рожденье
Назначила слепая мне судьба;
Когда б я был не Иоаннов сын,
Не сей давно забытый миром отрок:
Тогда б… тогда б любила ль ты меня?..
Марина.

Димитрий ты и быть иным не можешь;
Другого мне любить нельзя.
Самозванец.
Нет! полно:
Я не хочу делиться с мертвецом
Любовницей, ему принадлежащей.
Нет, полно мне притворствовать! скажу
Всю истину; так знай же: твой Димитрий
Давно погиб, зарыт — и не воскреснет;
А хочешь ли ты знать, кто я таков?
Изволь; скажу: я бедный черноризец;
Монашеской неволею скучая,
Под клобуком, свой замысел отважный
Обдумал я, готовил миру чудо —
И наконец из келии бежал
К украинцам, в их буйные курени,
Владеть конем и саблей научился;
Явился к вам; Димитрием назвался
И поляков безмозглых обманул.
Что скажешь ты, надменная Марина?
Довольна ль ты признанием моим?
Что ж ты молчишь?
Марина.
О стыд! о горе мне!
(Молчание.)
Самозванец *(тихо).*

Куда завлек меня порыв досады!
С таким трудом устроенное счастье
Я, может быть, навеки погубил.
Что сделал я, безумец? —
(Вслух.)
Вижу, вижу:
Стыдишься ты не княжеской любви.
Так вымолви ж мне роковое слово;
В твоих руках теперь моя судьба,
Реши: я жду *(бросается на колени)*.
Марина.
Встань, бедный самозванец.
Не мнишь ли ты коленопреклоненьем,
Как девочке доверчивой и слабой
Тщеславное мне сердце умилить?
Ошибся, друг: у ног своих видала
Я рыцарей и графов благородных;
Но их мольбы я хладно отвергала
Не для того, чтоб беглого монаха…
Самозванец *(встает)*.
Не презирай младого самозванца;
В нем доблести таятся, может быть,
Достойные московского престола,
Достойные руки твоей бесценной…
Марина.
Достойные позорной петли, дерзкий!

Самозванец.
Виновен я; гордыней обуянный,
Обманывал я Бога и царей,
Я миру лгал; но не тебе, Марина,
Меня казнить; я прав перед тобою.
Нет, я не мог обманывать тебя.
Ты мне была единственной святыней,
Пред ней же я притворствовать не смел.
Любовь, любовь ревнивая, слепая,
Одна любовь принудила меня
Всё высказать.
Марина.
Чем хвалится, безумец!
Кто требовал признанья твоего?
Уж если ты, бродяга безъимянный,
Мог ослепить чудесно два народа,
Так должен уж по крайней мере ты
Достоин быть успеха своего
И свой обман отважный обеспечить
Упорною, глубокой, вечной тайной.
Могу ль, скажи, предаться я тебе,
Могу ль, забыв свой род и стыд девичий,
Соединить судьбу мою с твоею,
Когда ты сам с такою простотой,
Так ветрено позор свой обличаешь?
Он из любви со мною проболтался!

Дивлюся: как перед моим отцом
Из дружбы ты доселе не открылся,
От радости пред нашим королем
Или еще пред паном Вишневецким
Из верного усердия слуги.
Самозванец.
Клянусь тебе, что сердца моего
Ты вымучить одна могла признанье.
Клянусь тебе, что никогда, нигде,
Ни в пиршестве за чашею безумства,
Ни в дружеском, заветном разговоре,
Ни под ножом, ни в муках истязаний
Сих тяжких тайн не выдаст мой язык.
Марина.
Клянешься ты! итак должна я верить —
О верю я! — но чем, нельзя ль узнать,
Клянешься ты? не именем ли Бога,
Как набожный приимыш езуитов?
Иль честию, как витязь благородный,
Иль может быть единым царским словом,
Как царский сын? не так ли? говори.
Димитрий *(гордо).*
Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла —

Царевич я. Довольно, стыдно мне
Пред гордою полячкой унижаться. —
Прощай навек. Игра войны кровавой,
Судьбы моей обширные заботы
Тоску любви, надеюсь, заглушат —
О как тебя я стану ненавидеть,
Когда пройдет постыдной страсти жар!
Теперь иду — погибель иль венец
Мою главу в России ожидает,
Найду ли смерть, как воин в битве честной,
Иль как злодей на плахе площадной,
Не будешь ты подругою моею,
Моей судьбы не разделишь со мною;
Но — может быть, ты будешь сожалеть
Об участи, отвергнутой тобою.
Марина.
А если я твой дерзостный обман
Заранее пред всеми обнаружу?
Самозванец.
Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь?
Что более поверят польской деве,
Чем русскому царевичу? — Но знай,
Что ни король, ни папа, ни вельможи
Не думают о правде слов моих.
Димитрий я, иль нет — что им за дело?
Но я предлог раздоров и войны.

Им это лишь и нужно, и тебя,
Мятежница! поверь, молчать заставят.
Прощай.
Марина.
Постой, царевич. Наконец
Я слышу речь не мальчика, но мужа.
С тобою, князь — она меня мирит.
Безумный твой порыв я забываю
И вижу вновь Димитрия. Но — слушай.
Пора, пора! проснись, не медли боле;
Веди полки скорее на Москву —
Очисти Кремль, садись на трон московский,
Тогда за мной шли брачного посла;
Но — слышит Бог — пока твоя нога
Не оперлась на тронные ступени,
Пока тобой не свержен Годунов,
Любви речей не буду слушать я.
(Уходит.)
Самозванец.
Нет — легче мне сражаться с Годуновым,
Или хитрить с придворным езуитом,
Чем с женщиной — чорт с ними: мочи нет.
И путает, и вьется, и ползет,
Скользит из рук, шипит, грозит и жалит.
Змея! змея! — Недаром я дрожал.
Она меня чуть-чуть не погубила.

Но решено: заутра двину рать.

Граница Литовская.

(1604 года, 16 октября.)

Князь Курбский и самозванец, оба верьхами. Полки приближаются к границе.

Курбский *(прискакав первый)*.

Вот, вот она! вот русская граница!
Святая Русь, Отечество! я твой!
Чужбины прах с презреньем отряхаю
С моих одежд — пью жадно воздух новый:
Он мне родной!... теперь твоя душа,
О мой отец, утешится и в гробе
Опальные возрадуются кости! —
Блеснул опять наследственный наш меч,
Сей славный меч, гроза Казани темной,
Сей добрый меч, слуга царей московских!
В своем пиру теперь он загуляет
За своего надёжу-государя!..

Самозванец (едет тихо с поникшей головой).

Как счастлив он! как чистая душа
В нем радостью и славой разыгралась!
О витязь мой! завидую тебе.
Сын Курбского, воспитанный в изгнаньи,
Забыв отцом снесенные обиды,
Его вину за гробом искупив
Ты кровь излить за сына Иоанна
Готовишься; законного царя

Ты возвратить отечеству… ты прав,
Душа твоя должна пылать весельем.
Курбский.
Ужель и ты не веселишься духом?
Вот наша Русь: она твоя, царевич.
Там ждут тебя сердца твоих людей:
Твоя Москва, твой Кремль, твоя держава.
Самозванец.
Кровь русская, о Курбский, потечет!
Вы за царя подъяли меч, вы чисты.
Я ж вас веду на братьев; я Литву
Позвал на Русь, я в красную Москву
Кажу врагам заветную дорогу!..
Но пусть мой грех падет не на меня —
А на тебя, Борис-цареубийца! —
Вперед!
Курбский.
Вперед! и горе Годунову!
(Скачут. Полки переходят через границу.)

Царская дума.
Царь, патриарх и бояре.
Царь.
Возможно ли? Расстрига, беглый инок
На нас ведет злодейские дружины,
Дерзает нам писать угрозы! Полно,
Пора смирить безумца! — Поезжайте
Ты, Трубецкой, и ты, Басманов: помочь
Нужна моим усердным воеводам.
Бунтовщиком Чернигов осажден.
Спасайте град и граждан.
Басманов.
Государь,
Трех месяцев отныне не пройдет,
И замолчит и слух о самозванце;
Его в Москву мы привезем, как зверя
Заморского, в железной клетке. Богом
Тебе клянусь.
(Уходит с Трубецким.)
Царь.
Мне свейский государь
Через послов союз свой предложил;
Но не нужна нам чуждая помога;
Своих людей у нас довольно ратных,
Чтоб отразить изменников и ляха.
Я отказал.

Щелкалов! разослать
Во все концы указы к воеводам,
Чтоб на коня садились и людей
По старине на службу высылали —
В монастырях подобно отобрать
Служителей причетных. В прежни годы,
Когда бедой отечеству грозило,
Отшельники на битву сами шли —
Но не хотим тревожить ныне их;
Пусть молятся за нас они — таков
Указ царя и приговор боярский.
Теперь вопрос мы важный разрешим:
Вы знаете, что наглый самозванец
Коварные промчал повсюду слухи;
Повсюду им разосланные письма
Посеяли тревогу и сомненье;
На площадях мятежный бродит шепот,
Умы кипят… их нужно остудить —
Предупредить желал бы казни я,
Но чем и как? решим теперь. Ты первый,
Святый отец, свою поведай мысль.
Патриарх.
Благословен Всевышний, поселивший
Дух милости и кроткого терпенья
В душе твоей, великий государь;
Ты грешнику погибели не хочешь,

Ты тихо ждешь — да пройдет заблужденье:
Оно пройдет и солнце правды вечной
Всех озарит.
Твой верный богомолец,
В делах мирских не мудрый судия,
Дерзает днесь подать тебе свой голос.
Бесовский сын, расстрига окаянный,
Прослыть умел Димитрием в народе;
Он именем царевича, как ризой
Украденной, бесстыдно облачился:
Но стоит лишь ее раздрать — и сам
Он наготой своею посрамится.
Сам Бог на то нам средство посылает:
Знай, государь, тому прошло шесть лет —
В тот самый год, когда тебя Господь
Благословил на царскую державу —
В вечерний час ко мне пришел однажды
Простой пастух, уже маститый старец,
И чудную поведал он мне тайну.
«В младых летах, сказал он, я ослеп
И с той поры не знал ни дня, ни ночи
До старости: напрасно я лечился
И зелием и тайным нашептаньем;
Напрасно я ходил на поклоненье
В обители к великим чудотворцам;
Напрасно я из кладязей святых

Кропил водой целебной темны очи;
Не посылал Господь мне исцеленья.
Вот наконец утратил я надежду,
И к тьме своей привык, и даже сны
Мне виданных вещей уж не являли,
А снилися мне только звуки. Раз,
В глубоком сне, я слышу, детский голос
Мне говорит: встань, дедушка, поди
Ты в Углич-град, в собор Преображенья;
Там помолись ты над моей могилкой,
Бог милостив — и я тебя прощу.
— Но кто же ты? спросил я детский голос.
— Царевич я Димитрий. Царь Небесный
Приял меня в лик ангелов своих
И я теперь великий чудотворец! —
Иди, старик. — Проснулся я и думал:
Что ж? может быть и в самом деле Бог
Мне позднее дарует исцеленье.
Пойду — и в путь отправился далекий.
Вот Углича достиг я, прихожу
В святый собор, и слушаю обедню
И, разгорясь душой усердной, плачу
Так сладостно, как будто слепота
Из глаз моих слезами вытекала.
Когда народ стал выходить, я внуку
Сказал: Иван, веди меня на гроб

Царевича Димитрия. — И мальчик
Повел меня — и только перед гробом
Я тихую молитву сотворил,
Глаза мои прозрели; я увидел
И божий свет, и внука, и могилку».
Вот, государь, что мне поведал старец.
(Общее смущение. В продолжение сей речи Борис несколько раз отирает лицо платком.)
Я посылал тогда нарочно в Углич,
И сведано, что многие страдальцы
Спасение подобно обретали
У гробовой царевича доски.
Вот мой совет: во Кремль святые мощи
Перенести, поставить их в соборе
Архангельском; народ увидит ясно
Тогда обман безбожного злодея,
И мощь бесов исчезнет яко прах.
(Молчание.)
Князь Шуйский.
Святый отец, кто ведает пути
Всевышнего? Не мне его судить.
Нетленный сон и силу чудотворства
Он может дать младенческим останкам,
Но надлежит народную молву
Исследовать прилежно и бесстрастно;
А в бурные ль смятений времена

Нам помышлять о столь великом деле?
Не скажут ли, что мы святыню дерзко
В делах мирских орудием творим?
Народ и так колеблется безумно,
И так уж есть довольно шумных толков:
Умы людей не время волновать
Нежданою, столь важной новизною.
Сам вижу я: необходимо слух,
Рассеянный расстригой, уничтожить;
Но есть на то иные средства — проще. —
Так, государь — когда изволишь ты,
Я сам явлюсь на площади народной,
Уговорю, усовещу безумство
И злой обман бродяги обнаружу.
Царь.
Да будет так! Владыко патриарх,
Прошу тебя пожаловать в палату:
Сегодня мне нужна твоя беседа.
(Уходит. За ним и все бояре.)
Один боярин *(тихо другому).*
Заметил ты, как государь бледнел
И крупный пот с лица его закапал?
Другой.
Я — признаюсь — не смел поднять очей,
Не смел вздохнуть, не только шевельнуться.
Первый боярин.

А выручил князь Шуйский. Молодец!

Равнина близ Новгорода-Северского.

(1604 года, 21 декабря.)

Битва.

Воины *(бегут в беспорядке)*.

Беда, беда! Царевич! Ляхи! Вот они! вот они!

(Входят капитаны Маржерет и Вальтер Розен.)

Маржерет.

Куда, куда? Allons…[11] пошоль назад!

Один из беглецов.

Сам *пошоль*, коли есть охота, проклятый басурман.

Маржерет.

Quoi? quoi?[12]

Другой.

Ква! ква! тебе любо, лягушка заморская, квакать на русского царевича; а мы ведь православные.

Маржерет.

Qu'est-ce à dire *pravoslavni*?… Sacrés gueux, maudite canaille! Mordieu, mein herr, j'enrage: on dirait que ça n'a pas des bras pour frapper, ça n'a que des jambes pour foutre le camp[13].

В. Розен.

Es ist Schande[14].

Маржерет.

Ventre-saint-gris! Je ne bouge plus d'un pas —

puisque le vin est tiré, il faut le boire. Qu'en dites-vous, mein herr?[15]

В. Розен.

Sie haben Recht[16].

Маржерет.

Tudieu, il y fait chaud! Ce diable de Samozvanetz, comme ils l'appellent, est un bougre qui a du poil au cul. Qu'en pensez vous, mein herr?[17]

В. Розен.

Oh, ja![18]

Маржерет.

Hé! voyez donc, voyez donc! L'action s'engage sur les derrières de l'ennemi. Ce doit être le brave Basmanoff, qui aurait fait une sortie[19].

В. Розен.

Ich glaube das[20].

(Входят немцы.)

Маржерет.

Ha, ha! voici nos Allemands. — Messieurs!.. Mein herr, dites-leur donc de se rallier et, sacrebleu, chargeons![21]

В. Розен.

Sehr gut. Halt![22]

(Немцы строятся.)

Marsch![23]

Немцы *(идут)*.

Hilf Gott![24]

(Сражение. Русские снова бегут.)

Ляхи.

Победа! победа! Слава царю Димитрию.

Димитрий *(верьхом)*.

Ударить отбой! мы победили. Довольно; щадите русскую кровь. Отбой!

(Трубят, бьют барабаны.)

Площадь перед собором в Москве.

Народ.

Один.

Скоро ли царь выйдет из собора?

Другой.

Обедня кончилась; теперь идет молебствие.

Первый.

Что? уж проклинали *того*?

Другой.

Я стоял на паперти, и слышал, как диакон завопил: Гришка Отрепьев — Анафема!

Первый.

Пускай себе проклинают; царевичу дела нет до Отрепьева.

Другой.

А царевичу поют теперь вечную память.

Первый.

Вечную память живому! Вот ужо им будет, безбожникам.

Третий.

Чу! шум. Не царь ли?

Четвертый.

Нет; это Юродивый.

(Входит Юродивый в железной шапке, обвешенный веригами, окруженный мальчишками.)

Мальчишки.

Николка, Николка — железный колпак!.. тр р р р р...

Старуха.

Отвяжитесь, бесенята, от блаженного. — Помолись, Николка, за меня грешную.

Юродивый.

Дай, дай, дай копеечку.

Старуха.

Вот тебе копеечка; помяни же меня.

Юродивый *(садится на землю и поет).*

Месяц светит,
Котенок плачет,
Юродивый, вставай,
Богу помолися!

(Мальчишки окружают его снова.)

Один из них.

Здравствуй, Николка; что же ты шапки не снимаешь? *(Щелкает его по железной шапке.)* Эк она звонит!

Юродивый.

А у меня копеечка есть.

Мальчишка.

Неправда! ну покажи.

(Вырывает копеечку и убегает.)

Юродивый *(плачет).*

Взяли мою копеечку; обижают Николку!

Народ.

Царь, царь идет.

(Царь выходит из собора. Боярин впереди раздает нищим милостыню. Бояре.)

Юродивый.

Борис, Борис! Николку дети обижают.

Царь.

Подать ему милостыню. О чем он плачет?

Юродивый.

Николку маленькие дети обижают… Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича.

Бояре.

Поди прочь, дурак! схватите дурака!

Царь.

Оставьте его. Молись за меня, бедный Николка.

(Уходит.)

Юродивый *(ему вслед).*

Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велит.

Севск.
Самозванец, окруженный своими.
Самозванец.
Где пленный?
Лях.
Здесь.
Самозванец.
Позвать его ко мне.
(Входит русский пленник.)
Кто ты?
Пленник.
Рожнов, московский дворянин.
Самозванец.
Давно ли ты на службе?
Пленник.
С месяц будет.
Самозванец.
Не совестно, Рожнов, что на меня
Ты поднял меч?
Пленник.
Как быть, не наша воля.
Самозванец.
Сражался ты под Северским? —
Пленник.
Я прибыл
Недели две по битве — из Москвы.

Самозванец.
Что Годунов?
Пленник.
Он очень был встревожен
Потерею сражения и раной
Мстиславского, и Шуйского послал
Начальствовать над войском.
Самозванец.
А зачем
Он отозвал Басманова в Москву?
Пленник.
Царь наградил его заслуги честью
И золотом. Басманов в царской Думе
Теперь сидит.
Самозванец.
Он в войске был нужнее.
Ну что в Москве?
Пленник.
Всё, слава Богу, тихо.
Самозванец.
Что? ждут меня?
Пленник.
Бог знает; о тебе
Там говорить не слишком нынче смеют.
Кому язык отрежут, а кому
И голову — такая право притча!

Что день, то казнь. Тюрьмы битком набиты.
На площади, где человека три
Сойдутся — глядь — лазутчик уж и вьется,
А государь досужною порою
Доносчиков допрашивает сам.
Как раз беда; так лучше уж молчать.
Самозванец.
Завидна жизнь Борисовых людей!
Ну, войско что?
Пленник.
Что с ним? одето, сыто,
Довольно всем.
Самозванец.
Да много ли его?
Пленник.
Бог ведает.
Самозванец.
А будет тысяч тридцать?
Пленник.
Да наберешь и тысяч пятьдесят.
(Самозванец задумывается. Окружающие смотрят друг на друга.)
Самозванец.
Ну! обо мне как судят в вашем стане?
Пленник.
А говорят о милости твоей,

Что ты-дескать (будь не во гнев) и вор,
А молодец.
Самозванец *(смеясь).*
Так это я на деле
Им докажу: друзья, не станем ждать
Мы Шуйского; я поздравляю вас:
На завтра бой.
(Уходит.)
Все.
Да здравствует Димитрий!
Лях.
На завтра бой! их тысяч пятьдесят,
А нас всего едва ль пятнадцать тысяч.
С ума сошел.
Другой.
Пустое, друг: поляк
Один пятьсот москалей вызвать может.
Пленник.
Да, вызовешь. А как дойдет до драки,
Так убежишь от одного, хвастун.
Лях.
Когда б ты был при сабле, дерзкий пленник,
То я тебя *(указывая на свою саблю)* вот этим бы смирил.
Пленник.
Наш брат русак без сабли обойдется:

Не хочешь ли вот этого *(показывая кулак),* безмозглый!

(Лях гордо смотрит на него и молча отходит. Все смеются.)

Лес.

Лжедимитрий, Пушкин.

(В отдалении лежит конь издыхающий.)

Лжедимитрий.

Мой бедный конь! как бодро поскакал
Сегодня он в последнее сраженье
И раненый, как быстро нес меня.
Мой бедный конь!

Пушкин *(про себя).*

Ну вот о чем жалеет!
Об лошади! когда всё наше войско
Побито в прах!

Самозванец.

Послушай, может быть,
От раны он лишь только заморился
И отдохнет.

Пушкин.

Куда! он издыхает.

Самозванец *(идет к своему коню).*

Мой бедный конь!… что делать? снять узду
Да отстегнуть подпругу. Пусть на воле
Издохнет он.

(Разуздывает и расседлывает коня. Входят несколько ляхов.)

Здорово, господа!
Что ж Курбского не вижу между вами?

Я видел, как сегодня в гущу боя
Он врезался; тьмы сабель молодца,
Что зыбкие колосья, облепили;
Но меч его всех выше подымался,
А грозный клик все клики заглушал.
Где ж витязь мой?
Лях.
Он лег на поле смерти.
Самозванец.
Честь храброму и мир его душе!
Как мало нас от битвы уцелело.
Изменники! злодеи-запорожцы,
Проклятые! вы, вы сгубили нас —
Не выдержать и трех минут отпора!
Я их ужо! десятого повешу,
Разбойники! —
Пушкин.
Кто там ни виноват,
Но всё-таки мы начисто разбиты,
Истреблены.
Самозванец.
А дело было наше;
Я было смял передовую рать —
Да немцы нас порядком отразили;
А молодцы! ей-богу, молодцы,
Люблю за то — из них — уж непременно

Составлю я почетную дружину.

Пушкин.

А где-то нам сегодня ночевать?

Самозванец.

Да здесь в лесу. Чем это не ночлег?

Чем свет, мы в путь; к обеду будем в Рыльске.

Спокойна ночь.

(Ложится, кладет седло под голову и засыпает.)

Пушкин.

Приятный сон, царевич!

Разбитый в прах, спасаяся побегом,

Беспечен он, как глупое дитя:

Хранит его конечно провиденье;

И мы, друзья, не станем унывать.

Москва. Царские палаты.
Борис, Басманов.
Царь.
Он побежден, какая польза в том?
Мы тщетною победой увенчались.
Он вновь собрал рассеянное войско
И нам со стен Путивля угрожает —
Что делают меж тем герои наши?
Стоят у Кром, где кучка казаков
Смеются им из-под гнилой ограды.
Вот слава! нет, я ими недоволен,
Пошлю тебя начальствовать над ними;
Не род, а ум поставлю в воеводы;
Пускай их спесь о местничестве тужит;
Пора презреть мне ропот знатной черни
И гибельный обычай уничтожить.
Басманов.
Ах, государь, стократ благословен
Тот будет день, когда Разрядны книги
С раздорами, с гордыней родословной
Пожрет огонь.
Царь.
День этот недалек;
Лишь дай сперва смятение народа
Мне усмирить.
Басманов.

Что на него смотреть;
Всегда народ к смятенью тайно склонен:
Так борзый конь грызет свои бразды;
На власть отца так отрок негодует;
Но что ж? конем спокойно всадник правит,
И отроком отец повелевает.
Царь.
Конь иногда сбивает седока,
Сын у отца не вечно в полной воле.
Лишь строгостью мы можем неусыпной
Сдержать народ. Так думал Иоанн,
Смиритель бурь, разумный самодержец,
Так думал и — его свирепый внук.
Нет, милости не чувствует народ:
Твори добро — не скажет он спасибо;
Грабь и казни — тебе не будет хуже.
(Входит боярин.)
Что?
Боярин.
Привели гостей иноплеменных.
Царь.
Иду принять; Басманов, погоди.
Останься здесь: с тобой еще мне нужно
Поговорить.
(Уходит.)
Басманов.

Высокий дух державный.
Дай Бог ему с Отрепьевым проклятым
Управиться, и много, много он
Еще добра в России сотворит.
Мысль важная в уме его родилась.
Не надобно ей дать остыть. Какое
Мне поприще откроется, когда
Он сломит рог боярству родовому!
Соперников во брани я не знаю;
У царского престола стану первый…
И может быть… Но что за чудный шум?
(Тревога. Бояре, придворные служители в беспорядке бегут, встречаются и шепчутся.)
Один.
За лекарем!
Другой.
Скорее к патриарху.
Третий.
Царевича, царевича зовет!
Четвертый.
Духовника!
Басманов.
Что сделалось такое?
Пятый.
Царь занемог.
Шестой.

Царь умирает.
Басманов.
Боже!
Пятый.
На троне он сидел и вдруг упал —
Кровь хлынула из уст и из ушей.
(Царя выносят на стуле; всё царское семейство, все бояре.)
Царь.
Подите все — оставьте одного
Царевича со мною. *(Все удаляются.)* Умираю;
Обнимемся, прощай, мой сын: сей час
Ты царствовать начнешь… о Боже, Боже!
Сей час явлюсь перед тобой — и душу
Мне некогда очистить покаяньем.
Но чувствую — мой сын, ты мне дороже
Душевного спасенья… так и быть!
Я подданным рожден и умереть
Мне подданным во мраке б надлежало;
Но я достиг верховной власти… чем?
Не спрашивай. Довольно: ты невинен,
Ты царствовать теперь по праву станешь.
Я, я за всё один отвечу Богу…
О милый сын, не обольщайся ложно,
Не ослепляй себя ты добровольно —
В дни бурные державу ты приемлешь:

Опасен он, сей чудный самозванец,
Он именем ужасным ополчен…
Я, с давних лет в правленьи искушенный,
Мог удержать смятенье и мятеж;
Передо мной они дрожали в страхе;
Возвысить глас измена не дерзала —
Но ты, младой, неопытный властитель,
Как управлять ты будешь под грозой,
Тушить мятеж, опутывать измену?
Но Бог велик! Он умудряет юность,
Он слабости дарует силу… слушай:
Советника во-первых избери
Надежного, холодных, зрелых лет,
Любимого народом — а в боярах
Почтенного породой или славой —
Хоть Шуйского. Для войска нынче нужен
Искусный вождь: Басманова пошли
И с твердостью снеси боярский ропот.
Ты с малых лет сидел со мною в Думе,
Ты знаешь ход державного правленья;
Не изменяй теченья дел. Привычка
Душа держав. Я ныне должен был
Восстановить опалы, казни — можешь
Их отменить; тебя благословят,
Как твоего благословляли дядю,
Когда престол он Грозного приял.

Со временем и по немногу снова
Затягивай державные бразды.
Теперь ослабь, из рук не выпуская…
Будь милостив, доступен к иноземцам,
Доверчиво их службу принимай.
Со строгостью храни устав церковный;
Будь молчалив; не должен царский голос
На воздухе теряться по-пустому;
Как звон святой, он должен лишь вещать
Велику скорбь или великий праздник.
О милый сын, ты входишь в те лета,
Когда нам кровь волнует женский лик.
Храни, храни святую чистоту
Невинности и гордую стыдливость:
Кто чувствами в порочных наслажденьях
В младые дни привыкнул утопать,
Тот, возмужав, угрюм и кровожаден,
И ум его безвременно темнеет.
В семье своей будь завсегда главою;
Мать почитай — но властвуй сам собою —
Ты муж и царь — люби свою сестру,
Ты ей один хранитель остаешься.
Феодор *(на коленях).*
Нет, нет — живи и царствуй долговечно:
Народ и мы погибли без тебя.
Царь.

Всё кончено — глаза мои темнеют,
Я чувствую могильный хлад…
(Входит патриарх, святители, за ними все бояре.

Царицу ведут под руки, царевна рыдает.)
Кто там?
А! схима… так! святое постриженье...
Ударил час, в монахи царь идет —
И темный гроб моею будет кельей...
Повремени, владыко патриарх,
Я царь еще: внемлите вы, бояре:
Се тот, кому приказываю царство;
Цалуйте крест Феодору… Басманов,
Друзья мои… при гробе вас молю
Ему служить усердием и правдой!
Он так еще и млад и непорочен…
Клянетесь ли?
Бояре.
Клянемся.
Царь.
Я доволен.
Простите ж мне соблазны и грехи
И вольные и тайные обиды…
Святый отец, приближься, я готов.
(Начинается обряд пострижения. Женщин в обмороке выносят.)

Ставка.
Басманов вводит Пушкина.
Басманов.
Войди сюда и говори свободно.
Итак тебя ко мне он посылает?
Пушкин.
Тебе свою он дружбу предлагает
И первый сан по нем в московском царстве.
Басманов.
Но я и так Феодором высоко
Уж вознесен. Начальствую над войском,
Он для меня презрел и чин разрядный,
И гнев бояр — я присягал ему.
Пушкин.
Ты присягал наследнику престола
Законному; но если жив другой,
Законнейший?…
Басманов.
Послушай, Пушкин, полно,
Пустого мне не говори; я знаю,
Кто он такой.
Пушкин.
Россия и Литва
Димитрием давно его признали,
Но впрочем я за это не стою.
Быть может он Димитрий настоящий,

Быть может он и самозванец. Только
Я ведаю, что рано или поздно
Ему Москву уступит сын Борисов.
Басманов.
Пока стою за юного царя,
Дотоле он престола не оставит;
Полков у нас довольно, слава Богу!
Победою я их одушевлю,
А вы, кого против меня пошлете?
Не казака ль Карелу? али Мнишка?
Да много ль вас, всего-то восемь тысяч.
Пушкин.
Ошибся ты: и тех не наберешь —
Я сам скажу, что войско наше дрянь,
Что казаки лишь только селы грабят,
Что поляки лишь хвастают, да пьют,
А русские… да что и говорить…
Перед тобой не стану я лукавить;
Но знаешь ли чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помогой,
А мнением; да! мнением народным.
Димитрия ты помнишь торжество
И мирные его завоеванья,
Когда везде без выстрела ему
Послушные сдавались города,
А воевод упрямых чернь вязала?

Ты видел сам, охотно ль ваши рати
Сражались с ним; когда же? при Борисе!
А нынче ль?.. нет, Басманов, поздно спорить
И раздувать холодный пепел брани:
Со всем твоим умом и твердой волей
Не устоишь; не лучше ли тебе
Дать первому пример благоразумный,
Димитрия царем провозгласить
И тем ему навеки удружить?
Как думаешь?
Басманов.
Узнаете вы завтра.
Пушкин.
Решись.
Басманов.
Прощай.
Пушкин.
Подумай же, Басманов.
(Уходит.)
Басманов.
Он прав, он прав; везде измена зреет —
Что делать мне? Ужели буду ждать,
Чтоб и меня бунтовщики связали
И выдали Отрепьеву? Не лучше ль
Предупредить разрыв потока бурный
И самому… Но изменить присяге!

Но заслужить бесчестье в род и род!
Доверенность младого венценосца
Предательством ужасным заплатить — —
Опальному изгнаннику легко
Обдумывать мятеж и заговор —
Но мне ли, мне ль, любимцу государя…
Но смерть… но власть… но бедствия народны…
(Задумывается.)
Сюда! кто там? *(Свищет.)* Коня! трубите сбор.

Лобное место.
Пушкин идет окруженный народом.
Народ.
Царевич нам боярина послал.
Послушаем, что скажет нам боярин.
Сюда! сюда!
Пушкин *(на амвоне).*
Московские граждане,
Вам кланяться царевич приказал.
(Кланяется.)
Вы знаете, как промысел небесный
Царевича от рук убийцы спас;
Он шел казнить злодея своего,
Но Божий суд уж поразил Бориса.
Димитрию Россия покорилась;
Басманов сам с раскаяньем усердным
Свои полки привел ему к присяге.
Димитрий к вам идет с любовью, с миром.
В угоду ли семейству Годуновых
Подымете вы руку на царя
Законного, на внука Мономаха?
Народ.
Вестимо нет.
Пушкин.
Московские граждане!
Мир ведает, сколь много вы терпели

Под властию жестокого пришельца:
Опалу, казнь, бесчестие, налоги,
И труд, и глад — всё испытали вы.
Димитрий же вас жаловать намерен,
Бояр, дворян, людей приказных, ратных,
Гостей, купцов — и весь честной народ.
Вы ль станете упрямиться безумно
И милостей кичливо убегать?
Но он идет на царственный престол
Своих отцов — в сопровожденьи грозном.
Не гневайте ж царя и бойтесь Бога.
Цалуйте крест законному владыке;
Смиритеся, немедленно пошлите
К Димитрию во стан митрополита,
Бояр, дьяков и выборных людей,
Да бьют челом отцу и государю.
(Сходит. Шум народный.)
Народ.
Что толковать? Боярин правду молвил.
Да здравствует Димитрий наш отец!
Мужик на амвоне.
Народ, народ! в Кремль! в царские палаты!
Ступай! вязать Борисова щенка!
Народ *(несется толпою).*
Вязать! топить! Да здравствует Димитрий!
Да гибнет род Бориса Годунова!

Кремль. Дом Борисов. Стража у крыльца.

Феодор под окном.

Нищий.

Дайте милостыню, Христа ради!

Стража.

Поди прочь, не велено говорить с заключенными.

Феодор.

Поди, старик, я беднее тебя, ты на воле.

(Ксения под покрывалом подходит также к окну.)

Один из народа.

Брат да сестра! бедные дети, что пташки в клетке.

Другой.

Есть о ком жалеть? Проклятое племя!

Первый.

Отец был злодей, а детки невинны.

Другой.

Яблоко от яблони недалеко падает.

Ксения.

Братец, братец, кажется, к нам бояре идут.

Феодор.

Это Голицын, Мосальский. Другие мне незнакомы.

Ксения.

Ах братец, сердце замирает.

(Голицын, Мосальский, Молчанов и Шереферединов. За ними трое стрельцов.)

Народ.

Расступитесь, расступитесь. Бояре идут.

(Они входят в дом.)

Один из народа.

За чем они пришли?

Другой.

А верно приводить к присяге Феодора Годунова.

Третий.

В самом деле? — слышишь, какой в доме шум! Тревога, дерутся —

Народ.

Слышишь? визг! — это женской голос — взойдем! — Двери заперты — крики замолкли.

(Отворяются двери. Мосальский является на крыльце.)

Мосальский.

Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. *(Народ в ужасе молчит.)* Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!

Народ *безмолвствует.*

КОНЕЦ.

Предисловие «Полки»

Главная русская идиллия: история любви и спасения на фоне бунта, бессмысленного и беспощадного.

Юрий Сапрыкин



О чем эта книга?

Молодой дворянин Петр Гринев отправляется на службу в отдаленную уральскую крепость, по дороге попадает в буран и спасает случайного встречного. Впоследствии тот окажется предводителем крестьянского восстания и отплатит за добро: оценив честность и прямоту Гринева, Емельян Пугачев спасет его от расправы, а потом освободит из плена его невесту. Последняя прозаическая работа Пушкина — в каком-то смысле инструкция по выживанию, книга о том, как сохранить себя в России в смутные времена.

Когда она написана?

В августе 1832 года Пушкин делает первые наброски новой книги — истории дворянина, перешедшего на сторону Пугачева. Получив через несколько месяцев доступ в военные архивы, Пушкин начинает работать над «Историей Пугачева», вместе с тем меняется и замысел будущего романа: главный герой отдаляется от Пугачева, появляется романтическая линия. Под рукописью, которую Пушкин передает в цензуру, стоит дата «19 октября 1836 года» — его последнее большое произведение закончено в годовщину основания Царскосельского лицея.

Как она написана?

Предельно прозрачно и экономно. «Повести Пушкина голы как-то», — с неодобрением замечал Лев Толстой. Можно сформулировать иначе: в них отсечено лишнее, все служит развитию действия или характеров, каждая деталь о чем-то говорит, все висящие на стене ружья стреляют.



Павел Соколов. Иллюстрация к «Капитанской

дочке». 1891 год. Гравер Альфонс Ламот{6}

Что на нее повлияло?

Исторические романы Вальтера Скотта, русская проза екатерининских времен, собственные впечатления Пушкина от работы в архивах и поездок в Казань и Оренбург, по местам Пугачевского восстания.

Как она была опубликована?

В четвертом номере журнала «Современник», за месяц до гибели Пушкина. Текст опубликован без указания автора, но незадолго до этого Пушкин читает «Капитанскую дочку» у Вяземского, и ни для кого в петербургском обществе имя автора не является секретом.

Как ее приняли?

Через месяц после публикации Гоголь пишет из Парижа, что книга «произвела всеобщий эффект». В восторге даже Белинский, тремя годами раньше писавший в статье «Литературные мечтания»: «Оборвался период Пушкинский, так как кончился и сам Пушкин» (впрочем, главного героя «Капитанской дочки» он объявит ничтожным и бесцветным). Для современников это роман о потерянном рае: их завораживает, по выражению Александра Тургенева, «эта эпоха, эти характеры

старорусские и эта девичья русская прелесть». Спустя десять лет Гоголь напишет: «Сравнительно с “Капитанской дочкой” все наши романы и повести кажутся приторной размазней. <…> …все не только самая правда, но еще как бы лучше ее... На то и призвание поэта, чтобы из нас же взять нас и нас же возвратить нам в очищенном и лучшем виде».

Что было дальше?

«Капитанская дочка» отражается во всех последующих эпохах: картины тихой и простой семейной жизни появятся у Аксакова и Толстого, образ «доброго служивого» капитана Миронова продолжится в Максим Максимыче у Лермонтова и толстовском капитане Тушине. К «Капитанской дочке» восходит всякая русская идиллия, вплоть до романа Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», а вопрос о том, как сохранить честь и человечность на фоне трагических событий истории, окажется принципиально важным для литературы XX века. Как писал Дмитрий Святополк-Мирский, в романе «содержится квинтэссенция того, чем стал русский реализм».

Почему Пушкин заинтересовался историей Пугачева?

В 1831 году Пушкин принят на службу в Коллегию иностранных дел в качестве «историографа»: это высочайший ответ на письмо Бенкендорфу, где поэт сообщает о желании написать историю Петра и просит разрешить ему доступ в архивы. В России неспокойно: подавленное Польское восстание сменяют холерные бунты и волнения в военных поселениях; возможно, под впечатлением от происходящего Пушкин начинает интересоваться народным восстанием уже ушедшей эпохи. Для постдекабристской эпохи эта тема почти запретная. «…все без исключения архивные данные о ней, — писал литературовед Юлиан Оксман, — официально считались секретными… самое обращение к материалам о крестьянской революции не могло не компрометировать Пушкина, которому разрешены были царем в 1831 году лишь разыскания в области биографии Петра Великого». В феврале 1833-го Пушкин просит у военного министра графа Чернышева разрешить ему доступ к секретным архивам для изучения истории графа Суворова и его участия в подавлении Пугачевского восстания, но, получив разрешение, начинает заниматься материалами о восстании в целом и всего за пять недель пишет «Историю Пугачева». Николай I лично вычиты-

вает текст, вносит 23 правки, меняет название на «Историю Пугачевского бунта» и берет издательские расходы на свой счет.



Неизвестный художник. Портрет Емельяна Пугачева. Вторая половина XVIII века. Фотография Сергея Прокудина-Горского. 1911 год{7}

Были ли у героев романа реальные прототипы?

В первых набросках главным героем был Михаил Шванвич — офицер, попавший в плен к пугачевцам и перешедший на сторону самозванца. Пушкин несколько раз менял имя героя и его историю. В итоге черты Шванвича перешли к Швабрину, а главный герой получил фамилию подполковника Алексея Гринева — тот участвовал в подавлении восстания, по ложному оговору был обвинен в сотрудничестве с Пугачевым, но оправдан судом; этот сюжет присутствует в «Истории Екатерины II» Жана Кастера, которая была в библиотеке Пушкина. Известно, что баснописец Иван Крылов рассказывал Пушкину о своем отце, капитане Андрее Крылове, защищавшем от восставших Яицкий городок, — на него чем-то похож комендант Миронов. Что касается Пугачева, на страницах «Истории бунта» и в документах следствия он выглядит куда более жестоким; возможно, на его образ в книге повлияли впечатления Пушкина от поездок на Урал, где старые крестьяне по-прежнему называли предводителя восстания «батюшкой Петром Федоровичем» и говорили, что ничего от него не видели, кроме хорошего.

Почему роман называется «Капитанская дочка»?

Заглавие романа на первый взгляд выглядит случайным, Марина Цветаева и вовсе отказывала ему в праве на существование: «…Я произношу это название механически, как бы в одно слово, без всякого капитана и без всякой дочки. Говорю: “Капитанская дочка”, а думаю: “Пугачев”». Название впервые появляется в переписке Пушкина с цензором Корсаковым, в рукописях оно отсутствует. Можно предположить, что идея назвать роман именно так пришла автору в последний момент, но то, что заглавие переносит фокус на фигуру Маши Мироновой, не случайно: это семейная хроника, и в ней особенно важен, по выражению Юлия Айхенвальда, «образ самой отрадной и утешительной человечности». Именно любовь к Маше становится причиной и героических поступков Гринева, и его бедствий, именно Маша в итоге спасает жизнь и честь главного героя, она развязывает все сюжетные узлы и уводит Гринева — к долгой счастливой жизни за пределами романа.

«Капитанская дочка» — один из первых в России исторических романов. Откуда взялся этот жанр?

От Вальтера Скотта. В начале XIX века было невозможно написать роман на исторический

сюжет, игнорируя популярного шотландца. Исторические романы на русском материале пишут Лажечников, Загоскин и Фаддей Булгарин, всех троих называют русскими Вальтерами Скоттами. Пушкин заимствует у Скотта и формальные приемы («Роб Рой» тоже построен как мемуар одного из героев, якобы опубликованный автором), и образы героев (юноша, которого отец отправляет на военную службу; добрый слуга, готовый положить жизнь за хозяина, и т.д.). В романах Скотта семейная хроника накладывается на большую историю, а герои пытаются остаться верными себе, оказавшись меж двух противоборствующих сил, — эти темы присутствуют в «Роб Рое», «Уэверли» и «Пуританах», Пушкин лишь переносит их на русскую почву. Есть и более мелкие параллели: Пушкин делает Гринева плохим поэтом, точно так же поступает с героем «Роб Роя» Скотт.



Иван Миодушевский. Вручение письма Екатерине II, на сюжет повести «Капитанская дочка». Фрагмент. 1861 год{8}

Почему в романе так много эпиграфов?

Пушкин начинает каждую главу с цитаты из писателей XVIII века: Княжнина, Сумарокова, Хераскова, Фонвизина. Это авторы, принадлежащие времени действия романа, цитаты из них встречаются и внутри текста: Швабрин издевается над стихами Гринева, сравнивая их с любовными куплетами Тредиаковского. Эпиграфы не только

задают литературный контекст — они напоминают об атмосфере екатерининских времен, которые к середине 1830-х уже кажутся наивно-патриархальными. Виктор Шкловский находит в эпиграфах своеобразную игру: эпиграфы глав, относящихся к Пугачеву, взяты из стихотворений, где строчкой раньше или позже присутствуют слова «российский царь».

Что означает основной эпиграф — «Береги честь смолоду»?

Кодекс дворянской чести — неписаный свод правил и норм, руководивших жизнью дворянского сословия. Для Петра Гринева, покидающего отцовский дом без образования и средств к существованию, это основной капитал, его нравственный скелет. Честь не просто «правила жизни» — это и достоинство, и доблесть, и внутреннее чувство, и оценка извне. Честь для Гринева важнее, чем жизнь, успех или счастье. Он не раздумывая отдает Зурину проигранные деньги, вызывает Швабрина на дуэль, отказывается целовать руку Пугачеву — потому что так диктует честь. Соображения чести то и дело ставят его перед сложнейшей дилеммой: он не может помочь беззащитной девушке, не изменив присяге; обратившись за помощью к Пугачеву,

он нарушает требования дворянского кодекса; не желая называть имя Маши Мироновой, он не может опровергнуть обвинения в измене. Его жизнь и достоинство спасают лишь самоотверженный поступок Маши и милость императрицы.

Как Пушкин относится к Пугачеву?

Как минимум с интересом, если не с симпатией. Отправляя Денису Давыдову экземпляр «Истории Пугачевского бунта», Пушкин пишет: «Вот мой Пугач: при первом взгляде / Он виден — плут, казак прямой! / В передовом твоем отряде / Урядник был бы он лихой». Пугачев «Капитанской дочки» — человек, в равной степени способный на жестокость и на милость, фигура пугающая и завораживающая, как собирающийся на горизонте буран. В тексте мы видим Пугачева глазами Гринева, ему же формально принадлежат знаменитые историософские фразы: «лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений» и «не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». В советском литературоведении принято было считать, что этими фразами Пушкин пытался обмануть цензуру, хотя в душе полностью поддерживал восставшее крестьянство, — но для этого

предположения нет документальных оснований; вероятнее всего, собственный взгляд Пушкина на восстание близок умеренно консервативной позиции его героя.

Насколько корректно Пушкин обращается с историческими фактами и датами?

Не все факты и даты в романе стыкуются между собой. Согласно одному из вариантов романа, Андрей Гринев выходит в отставку в 1762 году, в другой рукописи дата рождения Петра (которое, несомненно, случилось уже после того, как старший Гринев осел в деревне) — 1755 год. Учителя-французы в массовом порядке появились в России после Французской революции, в детские годы Петра мосье Бопре вряд ли добрался бы до Симбирской губернии. Маша останавливается на почтовой станции в Софии под Царским Селом, но станция на этом месте была основана лишь через несколько лет, во времена лицейской молодости Пушкина. «Капитанская дочка» — скорее фантазия о прошедшем времени, чем историческая хроника. Впрочем, приписав текст стареющему Петру Гриневу, Пушкин застраховал себя от любых обвинений в неточности.

Почему первая публикация «Капитанской доч-

ки» вышла без указания имени автора?

Это литературная игра: подобно «Повестям Белкина», роман притворяется произведением другого автора, случайно попавшим в руки издателя-Пушкина. Пушкин как бы ставит редакционную пометку: мнение автора может не совпадать с мнением его персонажа, — что страшно осложнило жизнь следующим поколениям литературоведов, пытающихся понять, где заканчиваются взгляды вымышленного героя-мемуариста и начинается авторская позиция.

Почему отец отказывается отправлять ГринЕва в Петербург?

Про Гринева-старшего мы знаем, что он служил при графе Минихе, в одном из вариантов романа указан год его отставки — 1762-й: вероятно, Гринев, подобно Миниху, остался верен свергнутому императору Петру III. Для Пушкина эта коллизия связана с семейным преданием: его дед Лев Александрович, «как Миних, верен оставался паденью третьего Петра». Это объясняет и отъезд Гринева-старшего в отдаленную губернию, и смешанные чувства, с которыми он читает в «Придворном календаре», как продвигаются по службе бывшие коллеги, и нежелание отправлять сына на службу в Петербург: ему очевидно не по душе придворное

общество и воцарившиеся при Екатерине нравы.

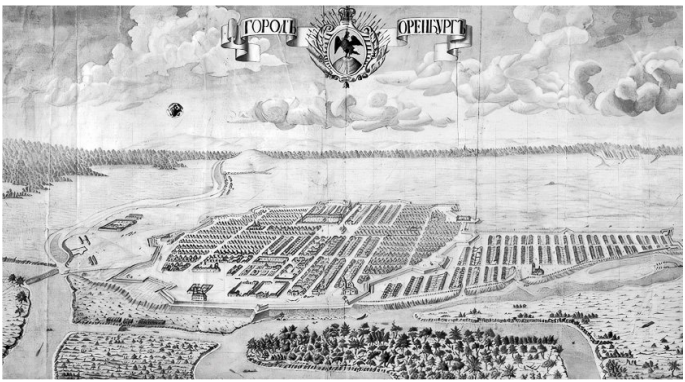


Неизвестный художник. Портрет великого князя Петра Федоровича. Конец 1750-х годов. Автор оригинала Федор Рокотов{9}

Где находится Белогорская крепость?

Крепости с таким названием в окрестностях Оренбурга нет, по расстоянию и местоположению

— сорок верст от Оренбурга — больше всего на Белогорскую похожа Татищева крепость (ныне село Татищево). Возможно, название для крепости подсказали Пушкину меловые горы, которые он видел по дороге из Оренбурга в Уральск.



Перспектива города Оренбурга, выполненная инженером-капитаном Александром Ригельманом в 1760 году. С 5 октября 1773 по 23 марта 1774 года город был осажден армией Емельяна Пугачева. Петр Гринев отправляется в Оренбург, освободившись из пугачевского плена{10}

Екатерина действительно могла помиловать пособника ПугачЕва?

Цензор Корсаков пытался выяснить у Пушкина,

основан ли этот эпизод на реальных событиях, тот отвечал: «Роман мой основан на предании, некогда слышанном мною, будто бы один из офицеров, изменивших своему долгу и перешедших в шайки пугачевские, был помилован императрицей по просьбе престарелого отца, кинувшегося ей в ноги». Речь об офицере Михаиле Шванвиче, который перешел на сторону восставших и служил у Пугачева секретарем Военной коллегии. После разгрома восстания Шванвича привезли на Болотную площадь вместе с Пугачевым и соратниками, в отличие от остальных он подвергся лишь гражданской казни — над его головой преломили шпагу, а затем сослали в Сибирь. Случай Шванвича был единичным: остальные дворяне переходили на сторону Пугачева лишь ради спасения жизни и при первой возможности бежали в лагерь правительственных войск. Как указывает филолог Александр Осповат, Екатерина милует Гринева, даже не интересуясь содержанием его дела: с того момента, как Маша рассказывает императрице о судьбе Гринева, до объявления о помиловании проходит в лучшем случае несколько часов, изучить за это время материалы следствия, идущего в Казани, физически невозможно.

Чем «Капитанская дочка» похожа на сказку?

Уже тем, как и что говорят герои. Пугачев рассказывает сказку про орла и ворона и поет с сообщниками народную песню; он же в начале повести разговаривает с хозяином постоялого двора пословицами — и этот разговор непонятен для дворянина Гринева; капитан Миронов и его жена пересыпают речь присказками и присловьями — так Пушкин задает характеры персонажей и указывает на их социальное положение. Сам сюжет романа, если разобрать его на первичные элементы, построен почти по «Морфологии сказки» Владимира Проппа: герой уходит из дома, на грани своего и чужого миров встречает волшебного помощника (в этой роли выступает Пугачев), оказывает ему услугу (за что помощник выручает героя из беды), проходит испытания, побеждает соперника и получает в награду невесту. Вряд ли Пушкин использовал элементы сказки сознательно — скорее всего, сработала авторская интуиция, но так или иначе, «Капитанская дочка» воспринимается нами как сказка: сюжет ее так же увлекателен, а мораль добра и утешительна.



Капитанская дочка

Береги честь смолоду.
ПОСЛОВИЦА

Глава I.

Сержант гвардии.

— Был бы гвардии он завтра ж капитан.

— Того не надобно; пусть в армии послужит.

— Изрядно сказано! пускай его потужит…

Да кто его отец?

Княжнин.

Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. С тех пор жил он в своей Симбирской деревни, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве.

Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время воспитывались мы не по-нонешнему. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу, за

трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. «Слава Богу» — ворчал он про себя — «кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало!»

Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию pour être outchitel, не очень понимая значение этого слова. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главною его слабостию была страсть к прекрасному полу; нередко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он (по его выражению) и *врагом бутылки*, т.е. (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причем учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привык к русской настойке и даже стал предпочитать ее винам своего отечества,

как не в пример более полезную для желудка. Мы тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня *по-французски, по-немецки и всем наукам*, но он предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски, — и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю:

Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье, обольстившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила и пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналью француза. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей и пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как

я прилаживал мочальный хвост к Мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. Бопре в смятении хотел было привстать и не мог: несчастный француз был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же день прогнал его со двора, к неописанной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспитание.

Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась.

Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придворный Календарь, ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка, знавшая наизусть все его свычаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подалее, и таким образом Придворный Кален-

дарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато, когда он случайно его находил, то, бывало, по целым часам не выпускал уж из своих рук. Итак, батюшка читал Придворный Календарь, изредка пожимая плечами и повторяя вполголоса: «Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!.. Обоих российских орденов кавалер!.. А давно ли мы…» Наконец батюшка швырнул календарь на диван и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.

Вдруг он обратился к матушке: «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?»

— Да вот пошел семнадцатый годок, — отвечала матушка. — Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Герасимовна, и когда еще…

«Добро» — прервал батюшка, — «пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим да лазить на голубятни».

Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того, трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что по мнению моему

было верхом благополучия человеческого.

Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги.

«Не забудь, Андрей Петрович», — сказала матушка — «поклониться и от меня князю Б.; я-дескать надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями».

— Что за вздор! — отвечал батюшка нахмурясь. — К какой стати стану я писать к князю Б.?

«Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши?»

— Ну, а там что?

«Да ведь начальник Петрушин — князь Б. Ведь Петруша записан в Семеновский полк».

— Записан! А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он служа в Петербурге? мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон. Записан в гвардии! Где его пашпорт? подай его сюда.

Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня

крестили, и вручила его батюшке дрожащею рукою. Батюшка прочел его со вниманием, положил перед собою на стол и начал свое письмо.

Любопытство меня мучило: куда ж отправляют меня, если уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подозвав меня, сказал: «Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством».

Итак, все мои блестящие надежды рушились! Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня гарнизонная скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастием. Но спорить было нечего. На другой день поутру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее чемодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы

не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду». Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем, и отправился в дорогу, обливаясь слезами.

В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по лавкам. Соскуча глядеть из окна на грязный переулок, я пошел бродить по всем комнатам. Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина, лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах. Он играл с маркером, который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под биллиард на четверинках. Я стал смотреть на их игру. Чем долее она продолжалась, тем прогулки на четверинках становились чаще, пока наконец маркер остался под биллиардом. Барин произнес над ним несколько сильных выражений в виде надгробного слова и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, по-видимому, странным. Он поглядел на

меня как бы с сожалением; однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иваном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр ** гусарского полку и находится в Симбирске при приеме рекрут, а стоит в трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе чем Бог послал, по-солдатски. Я с охотою согласился. Мы сели за стол. Зурин пил много и потчивал и меня, говоря, что надобно привыкать ко службе; он рассказывал мне армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали из-за стола совершенными приятелями. Тут вызвался он выучить меня играть на биллиарде. «Это» — говорил он — «необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в местечко — чем прикажешь заняться? Ведь не всё же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на биллиарде; а для того надобно уметь играть!» Я совершенно был убежден и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехам и, после нескольких уроков, предложил мне играть в деньги, по одному грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробовать,

повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без пуншу, что и служба! Я послушался его. Между тем игра наша продолжалась. Чем чаще прихлебывал я от моего стакана, тем становился отважнее. Шары поминутно летали у меня через борт; я горячился, бранил маркера, который считал Бог ведает как, час от часу умножал игру, словом — вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незаметно. Зурин взглянул на часы, положил кий, и объявил мне, что я проиграл сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои были у Савельича. Я стал извиняться. Зурин меня прервал: «Помилуй! Не изволь и беспокоиться. Я могу и подождать, а покамест поедем к Аринушке».

Что прикажете? День я кончил так же беспутно, как и начал. Мы отужинали у Аринушки. Зурин поминутно мне подливал, повторяя, что надобно к службе привыкать. Встав из-за стола, я чуть держался на ногах; в полночь Зурин отвез меня в трактир.

Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе. «Что это, сударь, с тобою сделалось?» — сказал он жалким голосом, «где ты это нагрузился? Ахти Господи! отроду такого греха

не бывало!» — Молчи, хрыч! — отвечал я ему, запинаясь; — ты верно пьян, пошел спать… и уложи меня.

На другой день я проснулся с головною болью, смутно припоминая себе вчерашние происшествия. Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая. «Рано, Петр Андреич», — сказал он мне, качая головою — «рано начинаешь гулять. И в кого ты пошел? Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего: отроду, кроме квасу, в рот ничего не изволила брать. А кто всему виноват? проклятый мусье. То и дело, бывало, к Антипьевне забежит: “Мадам, же ву при, водкю”. Вот тебе и же ву при! Нечего сказать: добру наставил, собачий сын. И нужно было нанимать в дядьки басурмана, как будто у барина не стало и своих людей!»

Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал ему: Поди вон, Савельич; я чаю не хочу. Но Савельича мудрено было унять, когда бывало примется за проповедь. «Вот видишь ли, Петр Андреич, каково подгуливать. И головке-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пьющий ни на что не годен… Выпей-ка огуречного рассолу с медом, а всего бы лучше опохмелиться полстаканчиком настойки.

Не прикажешь ли?»

В это время мальчик вошел и подал мне записку от И. И. Зурина. Я развернул ее и прочел следующие строки:

«Любезный Петр Андреевич, пожалуйста, пришли мне с моим мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах.

Готовый ко услугам

Иван Зурин».

Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный и, обратясь к Савельичу, который был *и денег, и белья, и дел моих рачитель*, приказал отдать мальчику сто рублей. «Как! зачем?» — спросил изумленный Савельич. — Я их ему должен — отвечал я со всевозможной холодностию. «Должен!» — возразил Савельич, час от часу приведенный в большее изумление; — «да когда же, сударь, успел ты ему задолжать? Дело что-то не ладно. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам».

Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю упрямого старика, то уж в последствии времени трудно мне будет освободиться от его опеки, и, взглянув на него гордо, сказал: — Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне вздумалось. А

тебе советую не умничать и делать то, что тебе приказывают.

Савельич так был поражен моими словами, что сплеснул руками и остолбенел. — Что же ты стоишь! — закричал я сердито. Савельич заплакал. «Батюшка Петр Андреич», — произнес он дрожащим голосом, — «не умори меня с печали. Свет ты мой! послушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебе родители крепко-накрепко заказали не играть, окроме как в орехи…» — Полно врать, — прервал я строго, — подавай сюда деньги, или я тебя в зашеи прогоню.

Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошел за моим долгом. Мне было жаль бедного старика; но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок. Деньги были доставлены Зурину. Савельич поспешил вывезти меня из проклятого трактира. Он явился с известием, что лошади готовы. С неспокойной совестию и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не простясь с моим учителем и не думая с ним уже когда-нибудь увидеться.

Глава II.

Вожатый.

Сторона ль моя, сторонушка,
Сторона незнакомая!
Что не сам ли я на тебя зашел,
Что не добрый ли да меня конь завез:
Завезла меня, доброго молодца,
Прытость, бодрость молодецкая,
И хмелинушка кабацкая.
Старинная песня.

Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой, по тогдашним ценам, был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в Симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя виноватым перед Савельичем. Всё это меня мучило. Старик угрюмо сидел на облучке, отворотясь от меня, и молчал, изредка только покрякивая. Я непременно хотел с ним помириться, и не знал с чего начать. Наконец я сказал ему: «Ну, ну, Савельич! полно, помиримся, виноват; вижу сам, что виноват. Я вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться тебя. Ну, не сердись; помиримся».

— Эх, батюшка Петр Андреич! — отвечал он с глубоким вздохом. — Сержусь-то я на самого себя;

сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире! Что делать? Грех попутал: вздумал забрести к дьячихе, повидаться с кумою. Так-то: зашел к куме, да засел в тюрьме. Беда да и только!.. Как покажусь я на глаза господам? что скажут они, как узнают, что дитя пьет и играет.

Чтоб утешить бедного Савельича, я дал ему слово впредь без его согласия не располагать ни одною копейкою. Он мало-по-малу успокоился, хотя все еще изредка ворчал про себя, качая головою: «Сто рублей! легко ли дело!»

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону, и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал: «Барин, не прикажешь ли воротиться?»

— Это зачем?

«Время ненадежно: ветер слегка подымается; — вишь, как он сметает порошу».

— Что ж за беда!

«А видишь там что?» (Ямщик указал кнутом на восток.)

— Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.

«А вон — вон: это облачко».

Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран.

Я слыхал о тамошних метелях, и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно со мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен; я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции, и велел ехать скорее.

Ямщик поскакал; но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла, и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин», — закричал ямщик — «беда: буран!»...

Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностию, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом — и скоро стали.

— «Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика с нетерпением. — Да что ехать? — отвечал он, слезая с облучка; невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом. — Я стал было его бранить. Савельич за него заступился. «И охота было не слушаться» — говорил он сердито — «воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу!» — Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая упряжь. Савельич ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели… Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик!» — закричал я — «смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться. — А Бог знает, барин, — сказал он, садясь на свое место: — воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк или человек.

Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком.

«Гей, добрый человек!» — закричал ему ямщик. — «Скажи, не знаешь ли где дорога?»

— Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе, — отвечал дорожный, — да что толку?

— Послушай, мужичок, — сказал я ему — знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?

— «Сторона мне знакомая» — отвечал дорожный — «слава Богу, исхожена изъезжена вдоль и поперег. Да вишь какая погода: как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться, да переждать, авось буран утихнет да небо прояснится: тогда найдем дорогу по звездам».

Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав себя Божией воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: «Ну, слава Богу, жило недалеко; сворачивай в право да поезжай». — А почему мне ехать в право? — спросил ямщик с неудовольствием. — Где ты видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой. — Ямщик казался мне прав. «В самом деле» — сказал я: — «почему думаешь ты, что жило недалече?» — А потому, что ветер оттоле потянул, — отвечал дорожный, — и я слышу, дымом пахнуло; знать, деревня близко. — Сметливость его

и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил циновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды.

Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть, и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня: ибо вероятно знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, не смотря на всевозможное презрение к предрассудкам.

Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал, и мы еще блуждали по снежной пустыне… Вдруг увидел я вороты, и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первою мыслию моею было опасение, чтобы батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую, и не почел бы его умышленным ослушанием. С бес-

покойством я выпрыгнул из кибитки, и вижу: матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише», — говорит она мне — «отец болен при смерти и желает с тобою проститься». — Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постеле; матушка приподымает полог и говорит: «Андрей Петрович, Петруша приехал; он воротился, узнав о твоей болезни; благослови его». Я стал на колени, и устремил глаза мои на больного. Что ж?.. Вместо отца моего, вижу в постеле лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: — Что это значит? Это не батюшка. И к какой мне стати просить благословения у мужика?» — «Все равно, Петруша», — отвечала мне матушка — «это твой посаженый отец; поцалуй у него ручку, и пусть он тебя благословит…» Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины, и стал махать во все стороны. Я хотел бежать… и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах… Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойсь, подойди под мое благословение…»

Ужас и недоумение овладели мною… И в эту минуту я проснулся; лошади стояли; Савельич дергал меня за руку, говоря: «Выходи, сударь: приехали».

— Куда приехали? — спросил я, протирая глаза.

«На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на забор. Выходи, сударь, скорее, да обогрейся».

Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшею силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка.

Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет шестидесяти, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мною погребец, потребовал огня, чтоб готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать.

— Где же вожатый? — спросил я у Савельича.

«Здесь, ваше благородие», — отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати и увидел черную бороду и два сверкающие глаза. — Что, брат, прозяб? — «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке!

Был тулуп, да что греха таить? заложил вечор у цаловальника: мороз показался не велик». В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему чашку чаю; мужик слез с полатей. Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднес ему чашку чаю; он отведал и поморщился. «Ваше благородие, сделайте мне такую милость, — прикажите поднести стакан вина; чай не наше казацкое питье». Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему, и взглянув ему в лицо: «Эхе» — сказал он — «опять ты в нашем краю! Отколе Бог принес?» — Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: «В огород летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком — да мимо. Ну, а что ваши?»

— Да что наши! — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. — Стали было к вечерни звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте. — «Молчи, дядя», — возразил

мой бродяга — «будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье!» — При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне, и воротился на полати.

Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмиренного после бунта 1772 года. Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый двор, или, по тамошнему, *умет*, находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань. Но делать было нечего. Нельзя было и подумать о продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забавляло. Между тем я расположился ночевать и лег на лавку. Савельич решился убраться на печь; хозяин лег на полу. Скоро вся изба захрапела, и я заснул, как убитый.

Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи.

Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению, и вчерашние подозрения изгладились совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помочь, и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. «Полтину на водку!» — сказал он, — «за что это? За то, что ты же изволил подвезти его к постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать». Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении. Мне было досадно однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня, если не из беды, то по крайней мере из очень неприятного положения. Хорошо, — сказал я хладнокровно; — если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой зайчий тулуп».

«Помилуй, батюшка Петр Андреич!» — сказал Савельич. — «Зачем ему твой зайчий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке».

— Это, старинушка, уж не твоя печаль, — сказал мой бродяга, — пропью ли я или нет. Его благо-

родие мне жалует шубу со своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться.

«Бога ты не боишься, разбойник!» — отвечал ему Савельич сердитым голосом. — «Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напялишь его на свои окаянные плечища».

— Прошу не умничать, — сказал я своему дядьке; — сейчас неси сюда тулуп.

«Господи Владыко!» — простонал мой Савельич. — «Зайчий тулуп почти новешенький! и добро бы кому, а то пьянице оголелому!»

Однако зайчий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле тулуп, из которого успел и я вырости, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился, и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, ваше благородие! Награди вас Господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей». — Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на

досаду Савельича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о зайчьем тулупе.

Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину росту высокого, но уже сгорбленного старостию. Длинные волосы его были совсем белы. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в его речи сильно отзывался немецкий выговор. Я подал ему письмо от батюшки. При имени его он взглянул на меня быстро: «Поже мой!» — сказал он. — «Тавно ли, кажется, Андрей Петрович был еше твоих лет, а теперь вот уш какой у него молотец! Ах, фремя, фремя!» — Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, делая свои замечания. «Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство»... Это что за серемонии? Фуй, как ему не софестно! Конечно: дисциплина перво дело, но так ли пишут к старому камрад?.. «ваше превосходительство не забыло»... гм... «и... когда... покойным фельдмаршалом Мин... походе... также и... Каролинку»... Эхе, брудер! так он еше помнит стары наши проказ? «Теперь о деле... К вам моего повесу»... гм... «держать в ежевых рукавицах»... Что такое ешевы рукавиц? Это должно быть русска поговорк... Что такое «дершать в ешевых рукавицах?» повто-

рил он, обращаясь ко мне.

— Это значит, — отвечал я ему с видом как можно более невинным, — обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать в ежевых рукавицах.

«Гм, понимаю… “и не давать ему воли”… нет, видно, ешовы рукавицы значит не то… “При сем… его паспорт”… Где же он? А, вот… “отписать в Семеновский”… Хорошо, хорошо: все будет сделано… “Позволишь без чинов обнять себя и… старым товарищем и другом” — а! наконец догадался… и прочая и прочая… Ну, батюшка, — сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт — все будет сделано: ты будешь офицером переведен в *** полк, и чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь в команде капитана Миронова, доброго и честного человека. Там ты будешь на службе настоящей, научишься дисциплине. В Оренбурге делать тебе нечего; рассеяние вредно молодому человеку. А сегодня милости просим: отобедать у меня».

Час от часу не легче! подумал я про себя; к чему послужило мне то, что еще в утробе матери я был уже гвардии сержантом! Куда это меня завело? В *** полк и в глухую крепость на гра-

ницу Киргиз-кайсацких степей!.. Я отобедал у Андрея Карловича, втроем с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за его столом, и я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя за своею холостою трапезою был отчасти причиною поспешного удаления моего в гарнизон. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего назначения.

Глава III.

Крепость.

Мы в фортеции живем,
Хлеб едим и воду пьем;
А как лютые враги
Придут к нам на пироги,
Зададим гостям пирушку:
Зарядим картечью пушку.

Солдатская песня.

Старинные люди, мой батюшка.

Недоросль.

Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частию печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. — Далече ли до крепости? — спросил я у своего

ямщика. «Недалече» — отвечал он. — «Вон уж видна». — Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. — Где же крепость? — спросил я с удивлением. — «Да вот она» — отвечал ямщик указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка», — отвечал инвалид: — «наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные

картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» — спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился-было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет» — сказала она; — «он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить» — сказал он; — «вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить» — продолжал он, — «зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки» — продолжал неутомимый вопрошатель. — «Полно врать пустяки» — сказала ему капитанша: — «ты

видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя... (держи-ка руки прямее...) А ты, мой батюшка», — продолжала она, обращаясь ко мне — «не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».

В эту минуту вошел урядник, молодой и статный казак. «Максимыч!» — сказала ему капитанша. — «Отведи г. офицеру квартиру, да почище». — «Слушаю, Василиса Егоровна», — отвечал урядник. — «Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?» — «Врешь, Максимыч», — сказала капитанша: — «у Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи г. офицера... как ваше имя и отчество, мой батюшка? Петр Андреич?.. Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну, что, Максимыч, все ли благополучно?»

— Все, слава Богу, тихо, — отвечал казак; — только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.

«Иван Игнатьич!» — сказала капитанша кривому старичку. — «Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. Ну, Максимыч, ступай себе с Богом. Петр Андреич, Максимыч отведет вас на вашу квартиру».

Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: «Господи Владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?»

На другой день по утру я только что стал одеваться, как дверь отворилась и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня» — сказал он мне по-французски — «что я без церемонии прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде; желание увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени». — Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе.

Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фрунт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого

росту, в колпаке и в китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились-было смотреть на учение; но он просил нас идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь» — прибавил он — «нечего вам смотреть».

Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно, и обошлась со мною как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучился!» — сказала комендантша. — «Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?» — Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светлорусыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава Богу, ученье не уйдет; успеет накричаться». — Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка?»

— сказала ему жена. — «Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». — А слышь ты, Василиса Егоровна, — отвечал Иван Кузмич, — я был занят службой: солдатушек учил.

«И, полно!» — возразила капитанша. — «Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да Богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».

Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки триста душ крестьян, «легко ли!» — сказала она; — «ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка; да слава Богу, живем помаленьку. Одна беда: Маша; девка на выданьи, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости Бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековечной невестою». — Я взглянул на Марью Ивановну; она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее, и я спешил переменить разговор. — Я слышал, — сказал я довольно некстати, — что на вашу крепость собираются напасть

башкирцы. — «От кого, батюшка, ты изволил это слышать?» — спросил Иван Кузмич. — Мне так сказывали в Оренбурге, — отвечал я. «Пустяки!» — сказал комендант. — «У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы — народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню». — И вам не страшно, — продолжал я, обращаясь к капитанше, — оставаться в крепости, подверженной таким опасностям? — «Привычка, мой батюшка», — отвечала она. — «Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи Господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».

— Василиса Егоровна прехрабрая дама — заметил важно Швабрин. — Иван Кузмич может это засвидетельствовать.

«Да, слышь ты», — сказал Иван Кузмич: — «баба-то не робкого десятка».

— А Марья Ивановна? — спросил я: — так же ли смела, как и вы?

«Смела ли Маша?» — отвечала ее мать. — «Нет,

Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки».

Мы встали изо стола. Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.

Глава IV.

Поединок.

— Ин изволь, и стань же в позитуру.
Посмотришь, проколю как я твою фигуру!
Княжнин.

Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною, но даже и приятною. В доме коменданта был я принят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные. Иван Кузмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его им управляла, что согласовалось с его беспечностию. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостию так точно, как и своим домком. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я в ней нашел благоразумную, и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы он был в непозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени правдоподобия: но Швабрин о том не беспокоился.

Я был произведен в офицеры. Служба меня не отягощала. В богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной охоте учил иногда своих солдат; но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая, хотя многие из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым оборотом клали на себя знамение креста. У Швабрина было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня, и куда вечерком иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Памфиловной, первою вестовщицею во всем околодке. С А. И. Швабриным, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу беседа его становилась для меня менее приятною. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне. Другого общества в крепости не было, но я другого и не желал.

Несмотря на предсказания, башкирцы не возмущались. Спокойствие царствовало вокруг нашей крепости. Но мир был прерван незапным

междуусобием.

Я уже сказывал, что я занимался литературою. Опыты мои, для тогдашнего времени, были изрядны, и Александр Петрович Сумароков, несколько лет после, очень их похвалял. Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен. Известно, что сочинители иногда, под видом требования советов, ищут благосклонного слушателя. Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведения стихотворца. После маленького предисловия, вынул я из кармана свою тетрадку, и прочел ему следующие стишки:

Мысль любовну истребляя,
Тщусь прекрасную забыть,
И ах, Машу избегая,
Мышлю вольность получить!
Но глаза, что мя пленили,
Всеминутно предо мной;
Они дух во мне смутили,
Сокрушили мой покой.
Ты, узнав мои напасти,
Сжалься, Маша, надо мной;
Зря меня в сей лютой части,
И что я пленен тобой.

— Как ты это находишь? — спросил я Швабри-

на, ожидая похвалы, как дани, мне непременно следуемой. Но к великой моей досаде, Швабрин, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша.

— Почему так? — спросил я его, скрывая свою досаду.

«Потому» — отвечал он, — «что такие стихи достойны учителя моего, Василья Кирилыча Тредьяковского, и очень напоминают мне его любовные куплетцы».

Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу ему своих сочинений. Швабрин посмеялся и над этой угрозою. «Посмотрим» — сказал он — «сдержишь ли ты свое слово: стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузмичу графинчик водки перед обедом. А кто эта Маша, перед которой изъясняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ль Ивановна?»

— Не твое дело, — отвечал я нахмурясь, — кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок.

«Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный

любовник!» — продолжал Швабрин, час от часу более раздражая меня; — «но послушай дружеского совета: коли ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками».

— Что это, сударь, значит? Изволь объясниться.

«С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтоб Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег».

Кровь моя закипела. — А почему ты об ней такого мнения? — спросил я, с трудом удерживая свое негодование.

«А потому», — отвечал он с адской усмешкою, — «что знаю по опыту ее нрав и обычай».

— Ты лжешь, мерзавец! — вскричал я в бешенстве, — ты лжешь самым бесстыдным образом.

Швабрин переменился в лице. «Это тебе так не пройдет», — сказал он, стиснув мне руку. — «Вы мне дадите сатисфакцию».

— Изволь; когда хочешь! — отвечал я, обрадовавшись. В эту минуту я готов был растерзать его.

Я тотчас отправился к Ивану Игнатьичу, и застал его с иголкою в руках: по препоручению комендантши он нанизывал грибы для сушенья на зиму. «А, Петр Андреич!» — сказал он, уви-

дя меня; — «добро пожаловать! Как это вас Бог принес? по какому делу, смею спросить?» Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Иванычем, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьич выслушал меня со вниманием, вытараща на меня свой единственный глаз. «Вы изволите говорить» — сказал он мне, — «что хотите Алексея Иваныча заколоть и желаете, чтоб я при том был свидетелем? Так ли? смею спросить».

— Точно так.

«Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы затеяли! Вы с Алексеем Иванычем побранились? Велика беда! Брань на вороту не виснет. Он вас побранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье — и разойдитесь; а мы вас уж помирим. А то: доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить? И добро б уж закололи вы его: Бог с ним, с Алексеем Иванычем; я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит? На что это будет похоже? Кто будет в дураках, смею спросить?»

Рассуждения благоразумного поручика не поколебали меня. Я остался при своем намерении. «Как вам угодно» — сказал Иван Игнатьич: — «делайте, как разумеете. Да зачем же мне тут быть

свидетелем? К какой стати? Люди дерутся, что за невидальщина, смею спросить? Слава Богу, ходил я под шведа и под турку: всего насмотрелся».

Я кое-как стал изъяснять ему должность секунданта, но Иван Игнатьич никак не мог меня понять. «Воля ваша» — сказал он. — «Коли уж мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к Ивану Кузмичу да донести ему по долгу службы, что в фортеции умышляется злодейство противное казенному интересу: не благоугодно ли будет господину коменданту принять надлежащие меры…»

Я испугался и стал просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту; насилу его уговорил; он дал мне слово, и я решился от него отступиться.

Вечер провел я, по обыкновению своему, у коменданта. Я старался казаться веселым и равнодушным, дабы не подать никакого подозрения и избегнуть докучных вопросов; но признаюсь, я не имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моем положении. В этот вечер я расположен был к нежности и к умилению. Марья Ивановна нравилась мне более обыкновенного. Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала

ей в моих глазах что-то трогательное. Швабрин явился тут же. Я отвел его в сторону и уведомил его о своем разговоре с Иваном Игнатьичем. «Зачем нам секунданты» — сказал он мне сухо: — «без них обойдемся». Мы условились драться за скирдами, что находились подле крепости, и явиться туда на другой день в седьмом часу утра. Мы разговаривали, повидимому, так дружелюбно, что Иван Игнатьич от радости проболтался. «Давно бы так» — сказал он мне с довольным видом; — «худой мир лучше доброй ссоры, а и нечестен, так здоров».

«Что, что, Иван Игнатьич?» — сказала комендантша, которая в углу гадала в карты: — «я не вслушалась».

Иван Игнатьич, заметив во мне знаки неудовольствия и вспомня свое обещание, смутился и не знал, что отвечать. Швабрин подоспел к нему на помощь.

«Иван Игнатьич» — сказал он — «одобряет нашу мировую».

— А с кем это, мой батюшка, ты ссорился?

«Мы было поспорили довольно крупно с Петром Андреичем».

— За что так?

«За сущую безделицу: за песенку, Василиса

Егоровна».

— Нашли за что ссориться! за песенку!.. да как же это случилось?

«Да вот как: Петр Андреич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую:

Капитанская дочь,

Не ходи гулять в полночь…

Вышла разладица. Петр Андреич было и рассердился; но потом рассудил, что всяк волен петь, что кому угодно. Тем и дело кончилось».

Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбесило; но никто, кроме меня, не понял грубых его обиняков; по крайней мере, никто не обратил на них внимания. От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство, как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее.

Присутствие Швабрина было мне несносно. Я скоро простился с комендантом и с его семейством; пришед домой, осмотрел свою шпагу, попробовал ее конец, и лег спать, приказав Савельичу разбудить меня в седьмом часу.

На другой день в назначенное время я стоял

уже за скирдами, ожидая моего противника. Вскоре и он явился. «Нас могут застать» — сказал он мне; — «надобно поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги. В эту минуту из-за скирда вдруг появился Иван Игнатьич и человек пять инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. Мы повиновались с досадою; солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатьичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностию.

Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатьич отворил двери, провозгласив торжественно «привел!» Нас встретила Василиса Егоровна. «Ах, мои батюшки! На что это похоже? как? что? в нашей крепости заводить смертоубийство! Иван Кузмич, сейчас их под арест! Петр Андреич! Алексей Иваныч! подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги в чулан. Петр Андреич! Этого я от тебя не ожидала. Как тебе не совестно? Добро Алексей Иваныч: он за душегубство и из гвардии выписан, он и в Господа Бога не верует; а ты-то что? туда же лезешь?»

Иван Кузмич вполне соглашался с своею супругою и приговаривал: «А слышь ты, Василиса

Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле». Между тем Палашка взяла у нас наши шпаги и отнесла в чулан. Я не мог не засмеяться. Швабрин сохранил свою важность. «При всем моем уважении к вам» — сказал он ей хладнокровно — «не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузмичу: это его дело». — Ах! мой батюшка! — возразила комендантша; — да разве муж и жена не един дух и едина плоть? Иван Кузмич! Что ты зеваешь? Сейчас рассади их по разным углам на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то прошла; да пусть отец Герасим наложит на них эпитимию, чтоб молили у Бога прощения, да каялись перед людьми.

Иван Кузмич не знал, на что решиться. Марья Ивановна была чрезвычайно бледна. Мало-помалу буря утихла; комендантша успокоилась, и заставила нас друг друга поцаловать. Палашка принесла нам наши шпаги. Мы вышли от коменданта повидимому примиренные. Иван Игнатьич нас сопровождал. — Как вам не стыдно было — сказал я ему сердито — доносить на нас коменданту после того, как дали мне слово того не делать?» — «Как Бог свят, я Ивану Кузмичу того

не говорил» — отвечал он; — «Василиса Егоровна выведала все от меня. Она всем и распорядилась без ведома коменданта. Впрочем, слава Богу, что все так кончилось». С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я остались наедине. — Наше дело этим кончиться не может — сказал я ему. «Конечно», — отвечал Швабрин; — «вы своею кровью будете отвечать мне за вашу дерзость; но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания!» — И мы расстались, как ни в чем не бывали.

Возвратясь к коменданту, я по обыкновению своему подсел к Марье Ивановне. Ивана Кузмича не было дома; Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали вполголоса. Марья Ивановна с нежностию выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорою с Швабриным. «Я так и обмерла» — сказала она, — «когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны! За одно слово, о котором через неделю верно б они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнию, но и совестию и благополучием тех, которые… Но я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно виноват Алексей Иваныч».

— А почему же вы так думаете, Марья Ивановна?

«Да так… он такой насмешник! Я не люблю Алексея Иваныча. Он очень мне противен; а странно: ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх».

— А как вы думаете, Марья Ивановна? Нравитесь ли вы ему или нет?

Марья Ивановна заикнулась и покраснела. «Мне кажется» — сказала она, — «я думаю, что нравлюсь».

— Почему же вам так кажется?

«Потому что он за меня сватался».

— Сватался! Он за вас сватался? Когда же?

«В прошлом году. Месяца два до вашего приезда».

— И вы не пошли?

«Как изволите видеть. Алексей Иваныч конечно человек умный, и хорошей фамилии, и имеет состояние; но как подумаю, что надобно будет под венцом при всех с ним поцаловаться… Ни за что! ни за какие благополучия!»

Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное злоречие, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и ста-

рался отвлечь нас друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показались мне еще более гнусными, когда, вместо грубой и непристойной насмешки, увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось во мне еще сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удобного случая.

Я дожидался не долго. На другой день, когда сидел я за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать?» — сказал мне Швабрин: — «за нами не смотрят. Сойдем к реке. Там никто нам не помешает». Мы отправились, молча. Спустясь по крутой тропинки, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда; наконец, приметя, что Швабрин ослабевает, я стал с живостию на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся, и увидел Савельича, сбегающего ко

мне по нагорной тропинке… В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча; я упал и лишился чувств.

Глава V.

Любовь.

Ах ты, девка, девка красная!
Не ходи, девка, молода замуж;
Ты спроси, девка, отца, матери,
Отца, матери, роду-племени;
Накопи, девка, ума-разума,
Ума-разума, приданова.
Песня народная.

Буде лучше меня найдешь, позабудешь.
Если хуже меня найдешь, вспомянешь.
То же.

Очнувшись, я несколько времени не мог опомниться и не понимал, что со мною сделалось. Я лежал на кровате, в незнакомой горнице, и чувствовал большую слабость. Передо мною стоял Савельич со свечкою в руках. Кто-то бережно развивал перевязи, которыми грудь и плечо были у меня стянуты. Мало-по-малу мысли мои прояснились. Я вспомнил свой поединок, и догадался, что был ранен. В эту минуту скрыпнула дверь. «Что? каков?» — произнес пошепту голос, от которого я затрепетал. — Все в одном положении, — отвечал Савельич со вздохом; — все без памяти, вот уже пятые сутки. — Я хотел оборотиться, но не мог. — Где я? кто здесь? — сказал я с усилием.

Марья Ивановна подошла к моей кровати и наклонилась ко мне. «Что? как вы себя чувствуете?» — сказала она. — Слава Богу, — отвечал я слабым голосом. — Это вы, Марья Ивановна? скажите мне… — Я не в силах был продолжать и замолчал. Савельич ахнул. Радость изобразилась на его лице. «Опомнился! опомнился!» — повторял он. — «Слава тебе, Владыко! Ну, батюшка Петр Андреич! напугал ты меня! легко ли? пятые сутки!..» Марья Ивановна перервала его речь. «Не говори с ним много, Савельич», — сказала она. — «Он еще слаб». Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. И так я был в доме коменданта, Марья Ивановна входила ко мне. Я хотел сделать Савельичу некоторые вопросы, но старик замотал головою и заткнул себе уши. Я с досадою закрыл глаза и вскоре забылся сном.

Проснувшись подозвал я Савельича, и вместо его увидел перед собою Марью Ивановну; ангельский голос ее меня приветствовал. Не могу выразить сладостного чувства, овладевшего мною в эту минуту. Я схватил ее руку и прильнул к ней, обливая слезами умиления. Маша не отрывала ее… и вдруг ее губки коснулись моей щеки, и я почувствовал их жаркий и свежий поцелуй. Огонь пробежал по мне. «Милая, добрая Марья

Ивановна — сказал я ей, — будь моею женою, согласись на мое счастие». — Она опомнилась. «Ради Бога успокойтесь» — сказала она, отняв у меня свою руку. — «Вы еще в опасности: рана может открыться. Поберегите себя хоть для меня». С этим словом она ушла, оставя меня в упоении восторга. Счастие воскресило меня. Она будет моя! она меня любит! Эта мысль наполняла все мое существование.

С той поры мне час от часу становилось лучше. Меня лечил полковой цырюльник, ибо в крепости другого лекаря не было, и, слава Богу, не умничал. Молодость и природа ускорили мое выздоровление. Все семейство коменданта за мною ухаживало. Марья Ивановна от меня не отходила. Разумеется, при первом удобном случае я принялся за прерванное объяснение, и Марья Ивановна выслушала меня терпеливее. Она безо всякого жеманства призналась мне в сердечной склонности и сказала, что ее родители конечно рады будут ее счастию. «Но подумай хорошенько» — прибавила она — «со стороны твоих родных не будет ли препятствия?»

Я задумался. В нежности матушкиной я не сомневался; но, зная нрав и образ мыслей отца, я чувствовал, что любовь моя не слишком его

тронет, и что он будет на нее смотреть, как на блажь молодого человека. Я чистосердечно признался в том Марье Ивановне, и решился однако писать к батюшке как можно красноречивее, прося родительского благословения. Я показал письмо Марьи Ивановне, которая нашла его столь убедительным и трогательным, что не сомневалась в успехе его, и предалась чувствам нежного своего сердца со всею доверчивостию молодости и любви.

Со Швабриным я помирился в первые дни моего выздоровления. Иван Кузмич, выговаривая мне за поединок, сказал мне: «Эх, Петр Андреич! надлежало бы мне посадить тебя под арест, да ты уж и без того наказан. А Алексей Иваныч у меня таки сидит в хлебном магазине под караулом, и шпага его под замком у Василисы Егоровны. Пускай он себе надумается, да раскается». — Я слишком был счастлив, чтоб хранить в сердце чувство неприязненное. Я стал просить за Швабрина, и добрый комендант с согласия своей супруги, решился его освободить. Швабрин пришел ко мне; он изъявил глубокое сожаление о том, что случилось между нами; признался, что был кругом виноват, и просил меня забыть о прошедшем. Будучи от природы не злопамятен, я искренно простил ему

и нашу ссору и рану, мною от него полученную. В клевете его видел я досаду оскорбленного самолюбия и отвергнутой любви, и великодушно извинял своего несчастного соперника.

Вскоре я выздоровел, и мог перебраться на мою квартиру. С нетерпением ожидал я ответа на посланное письмо, не смея надеяться, и стараясь заглушить печальные предчувствия. С Василисой Егоровной и с ее мужем я еще не объяснялся; но предложение мое не должно было их удивить. Ни я, ни Марья Ивановна не старались скрывать от них свои чувства, и мы заранее были уж уверены в их согласии.

Наконец однажды утром Савельич вошел ко мне, держа в руках письмо. Я схватил его с трепетом. Адрес был написан рукою батюшки. Это приуготовило меня к чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко мне матушка, а он в конце приписывал несколько строк. Долго не распечатывал я пакета и перечитывал торжественную надпись: «Сыну моему Петру Андреевичу Гриневу, в Оренбургскую губернию, в Белогорскую крепость». Я старался по почерку угадать расположение духа, в котором писано было письмо; наконец решился его распечатать, и с первых строк увидел, что все дело пошло к

чорту. Содержание письма было следующее:

«Сын мой Петр! Письмо твое, в котором просишь ты нас о родительском нашем благословении и согласии на брак с Марьей Ивановной дочерью Мироновой, мы получили 15-го сего месяца, и не только ни моего благословения, ни моего согласия дать я тебе не намерен, но еще и собираюсь до тебя добраться, да за проказы твои проучить тебя путем как мальчишку, не смотря на твой офицерской чин: ибо ты доказал, что шпагу носить еще недостоин, которая пожалована тебе на защиту отечества, а не для дуелей с такими же сорванцами, каков ты сам. Немедленно буду писать к Андрею Карловичу, прося его перевести тебя из Белогорской крепости куда-нибудь подальше, где бы дурь у тебя прошла. Матушка твоя, узнав о твоем поединке и о том, что ты ранен, с горести занемогла и теперь лежит. Что из тебя будет? Молю Бога, чтоб ты исправился, хоть и не смею надеяться на его великую милость.

Отец твой *А. Г.*»

Чтение сего письма возбудило во мне разные чувствования. Жестокие выражения, на которые батюшка не поскупился, глубоко оскорбили меня. Пренебрежение, с каким он упоминал о Марьи Ивановне, казалось мне столь же непристойным,

как и несправедливым. Мысль о переведении моем из Белогорской крепости меня ужасала; но всего более огорчило меня известие о болезни матери. Я негодовал на Савельича, не сомневаясь, что поединок мой стал известен родителям через него. Шагая взад и вперед по тесной моей комнате, я остановился перед ним и сказал, взглянув на него грозно: — Видно тебе не довольно, что я, благодаря тебя, ранен и целый месяц был на краю гроба: ты и мать мою хочешь уморить. — Савельич был поражен как громом. «Помилуй, сударь», — сказал он чуть не зарыдав, — «что это изволишь говорить? Я причина, что ты был ранен! Бог видит, бежал я заслонить тебя своею грудью от шпаги Алексея Иваныча! Старость проклятая помешала. Да что ж я сделал матушке-то твоей?» — Что ты сделал? — отвечал я. — Кто просил тебя писать на меня доносы? разве ты приставлен ко мне в шпионы? — «Я? писал на тебя доносы?» — отвечал Савельич со слезами. — «Господи Царю Небесный! Так изволь-ка прочитать, что пишет ко мне барин: увидишь, как я доносил на тебя». Тут он вынул из кармана письмо, и я прочел следующее:

«Стыдно тебе, старый пес, что ты, невзирая на мои строгие приказания, мне не донес о сыне

моем Петре Андреевиче и что посторонние принуждены уведомлять меня о его проказах. Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса! пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку. С получением сего, приказываю тебе немедленно отписать ко мне, каково теперь его здоровье, о котором пишут мне, что поправилось; да в какое именно место он ранен и хорошо ли его залечили».

Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упреком и подозрением. Я просил у него прощения; но старик был неутешен. «Вот до чего я дожил» — повторял он; — «вот каких милостей дослужился от своих господ! Я и старый пес, и свинопас, да я ж и причина твоей раны? Нет, батюшка Петр Андреич! не я, проклятый мусье всему виноват: он научил тебя тыкаться железными вертелами, да притопывать, как будто тыканием да топанием убережешься от злого человека! Нужно было нанимать мусье да тратить лишние деньги!»

Но кто же брал на себя труд уведомить отца моего о моем поведении? Генерал? Но он, казалось, обо мне не слишком заботился; а Иван Кузмич не почел за нужное рапортовать о моем поединке.

Я терялся в догадках. Подозрения мои остановились на Швабрине. Он один имел выгоду в доносе, коего следствием могло быть удаление мое из крепости и разрыв с комендантским семейством. Я пошел объявить обо всем Марье Ивановне. Она встретила меня на крыльце. «Что это с вами сделалось?» — сказала она, увидев меня. — «Как вы бледны!» — Все кончено! — отвечал я и отдал ей батюшкино письмо. Она побледнела в свою очередь. Прочитав, она возвратила мне письмо дрожащею рукою и сказала дрожащим голосом: «Видно мне не судьба… Родные ваши не хотят меня в свою семью. Буди во всем воля Господня! Бог лучше нашего знает, что нам надобно. Делать нечего, Петр Андреич; будьте хоть вы счастливы…» — Этому не бывать! — вскричал я, схватив ее за руку; — ты меня любишь; я готов на все. Пойдем, кинемся в ноги к твоим родителям; они люди простые, не жестокосердые гордецы… Они нас благословят; мы обвенчаемся… а там, со временем, я уверен, мы умолим отца моего; матушка будет за нас; он меня простит… «Нет, Петр Андреич», — отвечала Маша — «я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастия. Покоримся воле Божией. Коли найдешь себе суженую, коли

полюбишь другую — Бог с тобою, Петр Андреич; а я за вас обоих...» Тут она заплакала, и ушла от меня; я хотел было войти за нею в комнату, но чувствовал, что был не в состоянии владеть самим собою, и воротился домой.

Я сидел погруженный в глубокую задумчивость, как вдруг Савельич прервал мои размышления. «Вот, сударь», — сказал он, подавая мне исписанный лист бумаги; — посмотри, доносчик ли я на своего барина, и стараюсь ли я помутить сына с отцом». Я взял из рук его бумагу: это был ответ Савельича на полученное им письмо. Вот он от слова до слова:

«Государь Андрей Петрович, отец наш милостивый!

Милостивое писание ваше я получил, в котором изволишь гневаться на меня, раба вашего, что де стыдно мне не исполнять господских приказаний; — а я, не старый пес, а верный ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и усердно вам всегда служил и дожил до седых волос. Я ж про рану Петра Андреича ничего к вам не писал, чтоб не испужать понапрасну, и, слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна и так с испугу слегла, и за ее здоровие Бога буду молить. А Петр Андреич ранен был под правое плечо, в грудь под

самую косточку, в глубину на полтора вершка, и лежал он в доме у коменданта, куда принесли мы его с берега, и лечил его здешний цырюльник Степан Парамонов; и теперь Петр Андреич, слава Богу, здоров, и про него кроме хорошего нечего и писать. Командиры, слышно, им довольны; а у Василисы Егоровны он как родной сын. А что с ним случилась такая оказия, то быль молодцу не укора: конь и о четырех ногах, да спотыкается. А изволите вы писать, что сошлете меня свиней пасти, и на то ваша боярская воля. За сим кланяюсь рабски.

Верный холоп ваш

Архип Савельев».

Я не мог несколько раз не улыбнуться, читая грамоту доброго старика. Отвечать батюшке я был не в состоянии; а чтоб успокоить матушку письмо Савельича мне показалось достаточным.

С той поры положение мое переменилось. Марья Ивановна почти со мною не говорила, и всячески старалась избегать меня. Дом коменданта стал для меня постыл. Мало-по-малу приучился я сидеть один у себя дома. Василиса Егоровна сначала за то мне пеняла; но видя мое упрямство, оставила меня в покое. С Иваном Кузмичом виделся я только, когда того требова-

ла служба. Со Швабриным встречался редко и неохотно, тем более что замечал в нем скрытую к себе неприязнь, что и утверждало меня в моих подозрениях. Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении и час от часу становилась мне тягостнее. Я потерял охоту к чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума или удариться в распутство. Неожиданные происшедствия, имевшие важное влияние на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение.

Глава VI.

Пугачевщина.

Вы, молодые ребята, послушайте,
Что мы, старые старики, будем сказывати.
Песня.

Прежде нежели приступлю к описанию странных происшедствий, коим я был свидетель, я должен сказать несколько слов о положении, в котором находилась Оренбургская губерния в конце 1773 года.

Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства непрестанного надзора для удержания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, признанных удобными, заселены по большей части казаками, давнишними обладателями Яицких берегов. Но Яицкие казаки, долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность сего края, с некоторого времени были сами для правительства неспокойными и опасными подданными. В 1772 году произошло возмущение в их главном городке. Причиною тому были

строгие меры, предпринятые генерал-майором Траубенбергом, дабы привести войско к должному повиновению. Следствием было варварское убиение Траубенберга, своевольная перемена в управлении, и наконец усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями.

Это случилось несколько времени перед прибытием моим в Белогорскую крепость. Все было уже тихо, или казалось таковым; начальство слишком легко поверило мнимому раскаянию лукавых мятежников, которые злобствовали в тайне и выжидали удобного случая для возобновления беспорядков.

Обращаюсь к своему рассказу.

Однажды вечером (это было в начале октября 1773 года) сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра, и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны. Пришли меня звать от имени коменданта. Я тотчас отправился. У коменданта нашел я Швабрина, Ивана Игнатьича и казацкого урядника. В комнате не было ни Василисы Егоровны, ни Марьи Ивановны. Комендант со мною поздоровался с видом озабоченным. Он запер двери, всех усадил, кроме урядника, который стоял у дверей, вынул из кармана бумагу и сказал нам: «Господа офицеры, важная новость! Слушайте,

что пишет генерал». Тут он надел очки и прочел следующее:

«Господину коменданту Белогорской крепости капитану Миронову».

«По секрету».

«Сим извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак и раскольник Емельян Пугачев, учиня непростительную дерзость принятием на себя имени покойного императора Петра III, собрал злодейскую шайку, произвел возмущение в Яицких селениях, и уже взял и разорил несколько крепостей, производя везде грабежи и смертные убийства. Того ради, с получением сего, имеете вы, господин капитан, немедленно принять надлежащие меры к отражению помянутого злодея и самозванца, а буде можно и к совершенному уничтожению оного, если он обратится на крепость, вверенную вашему попечению».

«Принять надлежащие меры!» — сказал комендант, снимая очки и складывая бумагу. — «Слышь ты, легко сказать. Злодей-то видно силен; а у нас всего сто тридцать человек, не считая казаков, на которых плоха надежда, не в укор буди тебе сказано, Максимыч. (Урядник усмехнулся.) Однако делать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы, да ночные дозо-

ры; в случае нападения запирайте ворота, да выводите солдат. Ты, Максимыч, смотри крепко за своими казаками. Пушку осмотреть, да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите все это в тайне, чтоб в крепости никто не мог о том узнать преждевременно».

Раздав сии повеления, Иван Кузмич нас распустил. Я вышел вместе со Швабриным, рассуждая о том, что мы слышали. — Как ты думаешь, чем это кончится? — спросил я его. «Бог знает» — отвечал он; — «посмотрим. Важного покаместь еще ничего не вижу. Если же...» Тут он задумался и в рассеянии стал насвистывать французскую арию.

Не смотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачева разнеслась по крепости. Иван Кузмич, хоть и очень уважал свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей тайны, вверенной ему по службе. Получив письмо от генерала, он довольно искусным образом выпроводил Василису Егоровну, сказав ей, будто бы отец Герасим получил из Оренбурга какие-то чудные известия, которые содержит в великой тайне. Василиса Егоровна тотчас захотела отправиться в гости к попадье и, по совету Ивана Кузмича взяла с собою и Машу, чтоб ей не было

скучно одной.

Иван Кузмич, оставшись полным хозяином, тотчас послал за нами, а Палашку запер в чулан, чтоб она не могла нас подслушать.

Василиса Егоровна возвратилась домой, не успев ничего выведать от попадьи, и узнала, что во время ее отсутствия было у Ивана Кузмича совещание, и что Палашка была под замком. Она догадалась, что была обманута мужем, и приступила к нему с допросом. Но Иван Кузмич приготовился к нападению. Он ни мало не смутился и бодро отвечал своей любопытной сожительнице: «А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печи топить соломою; а как от того может произойти несчастие, то я и отдал строгий приказ впредь соломою бабам печей не топить, а топить хворостом и валежником». — А для чего ж было тебе запирать Палашку? — спросила комендантша. — За что бедная девка просидела в чулане, пока мы не воротились? — Иван Кузмич не был приготовлен к таковому вопросу; он запутался и пробормотал что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидела коварство своего мужа; но зная, что ничего от него не добьется, прекратила свои вопросы и завела речь о соленых огурцах, которые Акулина Памфиловна

приготовляла совершенно особенным образом. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть, и никак не могла догадаться, что бы такое было в голове ее мужа, о чем бы ей нельзя было знать.

На другой день, возвращаясь от обедни, она увидела Ивана Игнатьича, который вытаскивал из пушки тряпички, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханный в нее ребятишками. «Что́ бы значили эти военные приготовления?» — думала комендантша: — «уж не ждут ли нападения от киргизцев? Но неужто Иван Кузмич стал бы от меня таить такие пустяки?» Она кликнула Ивана Игнатьича, с твердым намерением выведать от него тайну, которая мучила ее дамское любопытство.

Василиса Егоровна сделала ему несколько замечаний касательно хозяйства, как судия, начинающий следствие вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность ответчика. Потом, помолчав несколько минут, она глубоко вздохнула и сказала качая головою: «Господи Боже мой! Вишь, какие новости! Что из этого будет?»

— И, матушка! — отвечал Иван Игнатьич. — Бог милостив: солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил. Авось дадим отпор Пугачеву.

Господь не выдаст, свинья не съест!

«А что за человек этот Пугачев?» — спросила комендантша.

Тут Иван Игнатьич заметил, что проговорился, и закусил язык. Но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всем признаться, дав ему слово не рассказывать о том никому.

Василиса Егоровна сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме как попадьи, и то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями.

Вскоре все заговорили о Пугачеве. Толки были различны. Комендант послал урядника с поручением разведать хорошенько обо всем по соседним селениям и крепостям. Урядник возвратился через два дня и объявил, что в степи верст за шестьдесят от крепости видел он множество огней и слышал от башкирцев, что идет неведомая сила. Впрочем не мог он сказать ничего положительного, потому что ехать дальше побоялся.

В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение; во всех улицах они толпились в кучки, тихо разговаривали между собою, и расходились, увидя драгуна или гарнизонного солдата. Подосланы были к ним лазутчики. Юлай, крещеный калмык, сделал коменданту

важное донесение. Показания урядника, по словам Юлая, были ложны: по возвращении своем лукавый казак объявил своим товарищам, что он был у бунтовщиков, представлялся самому их предводителю, который допустил его к своей руке и долго с ним разговаривал. Комендант немедленно посадил урядника под караул, а Юлая назначил на его место. Эта новость принята была казаками с явным неудовольствием. Они громко роптали, и Иван Игнатьич, исполнитель комендантского распоряжения, слышал своими ушами, как они говорили: «Вот ужо тебе будет, гарнизонная крыса!» Комендант думал в тот же день допросить своего арестанта; но урядник бежал из-под караула, вероятно при помощи своих единомышленников.

Новое обстоятельство усилило беспокойство коменданта. Схвачен был башкирец с возмутительными листами. По сему случаю комендант думал опять собрать своих офицеров, и для того хотел опять удалить Василису Егоровну под благовидным предлогом. Но как Иван Кузмич был человек самый прямодушный и правдивый, то и не нашел другого способа, кроме как единожды уже им употребленного.

«Слышь ты, Василиса Егоровна», — сказал он ей

покашливая. — «Отец Герасим получил, говорят, из города…» — Полно врать, Иван Кузмич, — перервала комендантша; — ты, знать, хочешь собрать совещание, да без меня потолковать об Емельяне Пугачеве; да лих не проведешь! — Иван Кузмич вытаращил глаза. «Ну, матушка», — сказал он — «коли ты уже все знаешь, так пожалуй оставайся; мы потолкуем и при тебе». — То-то, батько мой, — отвечала она; — не тебе бы хитрить; посылайка за офицерами.

Мы собрались опять. Иван Кузмич в присутствии жены прочел нам воззвание Пугачева, писанное каким-нибудь полуграмотным казаком. Разбойник объявлял о своем намерении немедленно идти на нашу крепость; приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал не супротивляться, угрожая казнию в противном случае. Воззвание написано было в грубых, но сильных выражениях, и должно было произвести опасное впечатление на умы простых людей.

«Каков мошенник!» — воскликнула комендантша. — «Что смеет еще нам предлагать! Выдти к нему на встречу и положить к ногам его знамена! Ах он собачий сын! Да разве не знает он, что мы уже сорок лет в службе и всего, слава Богу, на-

смотрелись? Неужто нашлись такие командиры, которые послушались разбойника?»

— Кажется, не должно бы, — отвечал Иван Кузмич. — А слышно, злодей завладел уж многими крепостями.

«Видно он в самом деле силен» — заметил Швабрин.

— А вот сейчас узнаем настоящую его силу — сказал комендант. — Василиса Егоровна, дай мне ключ от анбара. Иван Игнатьич, приведи-ка башкирца, да прикажи Юлаю принести сюда плетей.

«Постой, Иван Кузмич» — сказала комендантша, вставая с места. — «Дай уведу Машу куда-нибудь из дому; а то услышит крик, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотница до розыска. Счастливо оставаться».

Пытка, в старину, так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения, — мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо, если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и того менее

должно быть доказательством его виновности. Даже и ныне случается мне слышать старых судей, жалеющих об уничтожении варварского обычая. В наше же время никто не сумневался в необходимости пытки, ни судьи, ни подсудимые. Итак приказание коменданта никого из нас не удивило и не встревожило. Иван Игнатьич отправился за башкирцем, который сидел в анбаре под ключом у комендантши, и через несколько минут невольника привели в переднюю. Комендант велел его к себе представить.

Башкирец с трудом шагнул через порог (он был в колодке) и, сняв высокую свою шапку, остановился у дверей. Я взглянул на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа ни ушей. Голова его была выбрита; вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого росту, тощ и сгорблен; но узенькие глаза его сверкали еще огнем. «Эхе!» — сказал комендант, узнав, по страшным его приметам, одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году. — «Да ты видно старый волк, побывал в наших капканах. Ты знать не впервой уже бунтуешь, коли у тебя так гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подослал?»

Старый башкирец молчал и глядел на коменданта с видом совершенного бессмыслия. «Что́ же ты молчишь?» — продолжал Иван Кузмич: — «али бельмес по-русски не разумеешь? Юлай, спроси-ка у него по вашему, кто его подослал в нашу крепость?»

Юлай повторил на татарском языке вопрос Ивана Кузмича. Но башкирец глядел на него с тем же выражением и не отвечал ни слова.

«Якши» — сказал комендант; — «ты у меня заговоришь. Ребята! сымите-ка с него дурацкий полосатый халат, да выстрочите ему спину. Смотри ж, Юлай: хорошенько его!»

Два инвалида стали башкирца раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми. Когда ж один из инвалидов взял его руки и, положив их себе около шеи, поднял старика на свои плечи, а Юлай взял плеть и замахнулся: тогда башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок.

Когда вспомню, что это случилось на моем веку, и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распростране-

нию правил человеколюбия. Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений.

Все были поражены. «Ну» — сказал комендант; — «видно нам от него толку не добиться. Юлай, отведи башкирца в анбар. А мы, господа, кой о чем еще потолкуем».

Мы стали рассуждать о нашем положении, как вдруг Василиса Егоровна вошла в комнату, задыхаясь и с видом чрезвычайно встревоженным.

«Что это с тобою сделалось?» — спросил изумленный комендант.

— Батюшки, беда! — отвечала Василиса Егоровна. — Нижнеозерная взята сегодня утром. Работник отца Герасима сейчас оттуда воротился. Он видел, как ее брали. Комендант и все офицеры перевешаны. Все солдаты взяты в полон. Того и гляди, злодеи будут сюда.

Неожиданная весть сильно меня поразила. Комендант Нижнеозерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал он из Оренбурга с молодой своей женою и останавливался у Ивана Кузмича. Нижнеозерная находилась от нашей

крепости верстах в двадцати пяти. С часу на час должно было и нам ожидать нападения Пугачева. Участь Марьи Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло.

— Послушайте, Иван Кузмич! — сказал я коменданту. — Долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхания; об этом и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщин. Отправьте их в Оренбург, если дорога еще свободна, или в отдаленную, более надежную крепость, куда злодеи не успели бы достигнуть.

Иван Кузмич оборотился к жене и сказал ей: «А слышь ты матушка, и в самом деле, не отправить ли вас подале, пока не управимся мы с бунтовщиками?»

— И, пустое! — сказала комендантша. — Где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорская ненадежна? Слава Богу, двадцать второй год в ней проживаем. Видали и башкирцев и киргизцев: авось и от Пугачева отсидимся!

«Ну, матушка», — возразил Иван Кузмич — «оставайся, пожалуй, коли ты на крепость нашу надеешься. Да с Машей-то что нам делать? Хорошо, коли отсидимся, или дождемся сикурса; ну, а коли злодеи возьмут крепость?»

— Ну, тогда… — Тут Василиса Егоровна заик-

нулась и замолчала с видом чрезвычайного волнения.

«Нет, Василиса Егоровна», — продолжал комендант, замечая, что слова его подействовали, может быть, в первый раз в его жизни. — «Маше здесь оставаться не гоже. Отправим ее в Оренбург к ее крестной матери: там и войска и пушек довольно, и стена каменная. Да и тебе советовал бы с нею туда же отправиться; даром что ты старуха, а посмотри что с тобою будет, коли возьмут фортецию приступом».

— Добро, — сказала комендантша, — так и быть, отправим Машу. А меня, и во сне не проси: не поеду. Нечего мне под старость лет расставаться с тобою, да искать одинокой могилы на чужой сторонке. Вместе жить, вместе и умирать.

«И то дело» — сказал комендант. — «Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу в дорогу. Завтра чем свет ее и отправим, да дадим ей и конвой, хоть людей лишних у нас и нет. Да где же Маша?»

— У Акулины Памфиловны, — отвечала комендантша. — Ей сделалось дурно, как услышала о взятии Нижнеозерной; боюсь, чтобы не занемогла. Господи Владыко, до чего мы дожили!

Василиса Егоровна ушла хлопотать об отъезде

дочери. Разговор у коменданта продолжался; но я уже в него не мешался и ничего не слушал. Марья Ивановна явилась к ужину бледная и заплаканная. Мы отужинали молча, и встали изо стола скорее обыкновенного; простясь со всем семейством, мы отправились по домам. Но я нарочно забыл свою шпагу и воротился за нею: я предчувствовал, что застану Марью Ивановну одну. В самом деле, она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу. «Прощайте, Петр Андреич!» — сказала она мне со слезами. — «Меня посылают в Оренбург. Будьте живы и счастливы; может быть, Господь приведет нас друг с другом увидеться; если же нет…» Тут она зарыдала. Я обнял ее. — Прощай, ангел мой, — сказал я, — прощай, моя милая, моя желанная! Что бы со мною ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе! — Маша рыдала, прильнув к моей груди. Я с жаром ее поцаловал и поспешно вышел из комнаты.

Глава VII.

Приступ.

Голова моя, головушка,
Голова послуживая!
Послужила моя головушка
Ровно тридцать лет и три года.
Ах, не выслужила головушка
Ни корысти себе, ни радости,
Как ни слова себе доброго
И ни рангу себе высокого;
Только выслужила головушка
Два высокие столбика,
Перекладинку кленовую,
Еще петельку шелковую.
Народная песня.

В эту ночь я не спал и не раздевался. Я намерен был отправиться на заре к крепостным воротам, откуда Марья Ивановна должна была выехать, и там проститься с нею в последний раз. Я чувствовал в себе великую перемену: волнение души моей было мне гораздо менее тягостно, нежели то уныние, в котором еще недавно был я погружен. С грустию разлуки сливались во мне и неясные, но сладостные надежды, и нетерпеливое ожидание опасностей, и чувства благородного честолюбия. Ночь прошла незаметно. Я хотел уже выдти из

дому, как дверь моя отворилась и ко мне явился капрал с донесением, что наши казаки ночью выступили из крепости, взяв насильно с собою Юлая, и что около крепости разъезжают неведомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успеет выехать, ужаснула меня; я поспешно дал капралу несколько наставлений, и тотчас бросился к коменданту.

Уж рассветало. Я летел по улице, как услышал, что зовут меня. Я остановился. «Куда вы?» — сказал Иван Игнатьич, догоняя меня. — «Иван Кузмич на валу и послал меня за вами. Пугач пришел». — Уехала ли Марья Ивановна? — спросил я с сердечным трепетом. — «Не успела» — отвечал Иван Игнатьич: — «дорога в Оренбург отрезана; крепость окружена. Плохо, Петр Андреич!»

Мы пошли на вал, возвышение, образованное природой и укрепленное частоколом. Там уже толпились все жители крепости. Гарнизон стоял в ружье. Пушку туда перетащили накануне. Комендант расхаживал перед своим малочисленным строем. Близость опасности одушевляла старого воина бодростию необыкновенной. По степи, не в дальнем расстоянии от крепости, разъезжали человек двадцать верхами. Они, казалося, казаки, но между ими находились и башкирцы, которых

легко можно было распознать по их рысьим шапкам и по колчанам. Комендант обошел свое войско, говоря солдатам: «Ну, детушки, постоим сегодня за матушку государыню, и докажем всему свету, что мы люди бравые и присяжные!» Солдаты громко изъявили усердие. Швабрин стоял подле меня и пристально глядел на неприятеля. Люди, разъезжающие в степи, заметя движение в крепости, съехались в кучку и стали между собою толковать. Комендант велел Ивану Игнатьичу навести пушку на их толпу, и сам приставил фитиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не сделав никакого вреда. Наездники, рассеясь, тотчас ускакали из виду, и степь опустела.

Тут явилась на валу Василиса Егоровна и с нею Маша, не хотевшая отстать от нее. — «Ну, что?» — сказала комендантша. — «Каково идет баталья? Где же неприятель?» — Неприятель недалече, — отвечал Иван Кузмич. — Бог даст, все будет ладно. Что, Маша, страшно тебе? — «Нет, папенька», — отвечала Марья Ивановна; — «дома одной страшнее». Тут она взглянула на меня и с усилием улыбнулась. Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомня, что накануне получил ее из ее рук, как бы на защиту моей любезной. Сердце мое горело. Я воображал себя

ее рыцарем. Я жаждал доказать, что был достоин ее доверенности, и с нетерпением стал ожидать решительной минуты.

В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками. Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане, с обнаженной саблею в руке: это был сам Пугачев. Он остановился; его окружили и, как видно, по его повелению, четыре человека отделились и во весь опор подскакали под самую крепость. Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал под шапкою лист бумаги; у другого на копье воткнута была голова Юлая, которую, стряхнув, перекинул он к нам чрез частокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта. Изменники кричали: «Не стреляйте; выходите вон к государю. Государь здесь!»

«Вот я вас!» — закричал Иван Кузмич. — «Ребята! стреляй!» Солдаты наши дали залп. Казак, державший письмо, зашатался и свалился с лошади; другие поскакали назад. Я взглянул на Марью Ивановну. Пораженная видом окровавленной головы Юлая, оглушенная залпом, она казалась без памяти. Комендант подозвал

капрала и велел ему взять лист из рук убитого казака. Капрал вышел в поле и возвратился, ведя под устцы лошадь убитого. Он вручил коменданту письмо. Иван Кузмич прочел его про себя и разорвал потом в клочки. Между тем мятежники видимо приготовлялись к действию. Вскоре пули начали свистать около наших ушей, и несколько стрел воткнулись около нас в землю и в частокол. «Василиса Егоровна!» — сказал комендант. — «Здесь не бабье дело; уведи Машу; видишь: девка ни жива, ни мертва».

Василиса Егоровна, присмиревшая под пулями, взглянула на степь, на которой заметно было большое движение; потом оборотилась к мужу и сказала ему: «Иван Кузмич, в животе и смерти Бог волен: благослови Машу. Маша, подойди к отцу».

Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузмичу, стала на колени и поклонилась ему в землю. Старый комендант перекрестил ее трижды; потом поднял и, поцаловав, сказал ей изменившимся голосом: «Ну, Маша, будь счастлива. Молись Богу: он тебя не оставит. Коли найдется добрый человек, дай Бог вам любовь да совет. Живите, как жили мы с Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорей». (Маша кинулась ему на шею,

и зарыдала.) — Поцалуемся ж и мы, — сказала заплакав комендантша. — Прощай, мой Иван Кузмич. Отпусти мне, коли в чем я тебе досадила! — «Прощай, прощай, матушка!» — сказал комендант, обняв свою старуху. — «Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан». Комендантша с дочерью удалились. Я глядел во след Марьи Ивановны; она оглянулась и кивнула мне головой. Тут Иван Кузмич оборотился к нам, и все внимание его устремилось на неприятеля. Мятежники съезжались около своего предводителя, и вдруг начали слезать с лошадей. «Теперь стойте крепко» — сказал комендант; — «будет приступ…» В эту минуту раздался страшный визг и крики; мятежники бегом бежали к крепости. Пушка наша заряжена была картечью. Комендант подпустил их на самое близкое расстояние, и вдруг выпалил опять. Картечь хватила в самую средину толпы. Мятежники отхлынули в обе стороны и попятились. Предводитель их остался один впереди… Он махал саблею и, казалось, с жаром их уговаривал… Крик и визг, умолкнувшие на минуту, тотчас снова возобновились. «Ну, ребята», — сказал комендант; — «теперь отворяй ворота, бей в барабан. Ребята! вперед, на вылазку, за мною!»

Комендант, Иван Игнатьич и я мигом очутились за крепостным валом; но обробелый гарнизон не тронулся. «Что ж вы, детушки, стоите?» — закричал Иван Кузмич. — «Умирать, так умирать: дело служивое!» В эту минуту мятежники набежали на нас и ворвались в крепость. Барабан умолк; гарнизон бросил ружья; меня сшибли было с ног, но я встал и вместе с мятежниками вошел в крепость. Комендант, раненный в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Я бросился было к нему на помощь: несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками, приговаривая: «Вот ужо вам будет, государевым ослушникам!» Нас потащили по улицам; жители выходили из домов с хлебом и солью. Раздавался колокольный звон. Вдруг закричали в толпе, что государь на площади ожидает пленных и принимает присягу. Народ повалил на площадь; нас погнали туда же.

Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо. Казацкие старшины окружали его. Отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у крыльца,

с крестом в руках, и, казалось, молча умолял его за предстоящие жертвы. На площади ставили наскоро виселицу. Когда мы приближились, башкирцы разогнали народ и нас представили Пугачеву. Колокольный звон утих; настала глубокая тишина. «Который комендант?» — спросил самозванец. Наш урядник выступил из толпы и указал на Ивана Кузмича. Пугачев грозно взглянул на старика и сказал ему: «Как ты смел противиться мне, своему государю?» Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым голосом: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!» Пугачев мрачно нахмурился и махнул белым платком. Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к виселице. На ее перекладине очутился верхом изувеченный башкирец, которого допрашивали мы накануне. Он держал в руке веревку, и через минуту увидел я бедного Ивана Кузмича вздернутого на воздух. Тогда привели к Пугачеву Ивана Игнатьича. «Присягай» — сказал ему Пугачев — «государю Петру Феодоровичу!» — Ты нам не государь, — отвечал Иван Игнатьич, повторяя слова своего капитана. — Ты, дядюшка, вор и самозванец! — Пугачев махнул опять платком, и добрый поручик повис подле своего старого

начальника.

Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей. Тогда, к неописанному моему изумлению, увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. «Вешать его!» — сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося Богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех близких моему сердцу. Меня притащили под виселицу. «Не бось, не бось», — повторяли мне губители, может быть, и вправду желая меня ободрить. Вдруг услышал я крик: «Постойте, окаянные! погодите!..» Палачи остановились. Гляжу: Савельич лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной!» — говорил бедный дядька. — «Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради, вели повесить хоть меня старика!» Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили. «Батюшка наш тебя милует» — говорили мне. В эту минуту не могу сказать, чтоб я обрадовался своему избавлению, не скажу однако ж, чтоб я о нем и сожалел. Чув-

ствования мои были слишком смутны. Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. «Цалуй руку, цалуй руку!» — говорили около меня. Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению. «Батюшка Петр Андреич!» — шептал Савельич, стоя за мною и толкая меня. — «Не упрямься! что тебе стоит? плюнь да поцалуй у злод… (тьфу!) поцалуй у него ручку». Я не шевелился. Пугачев опустил руку, сказав с усмешкою: «Его благородие знать одурел от радости. Подымите его!» — Меня подняли и оставили на свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии.

Жители начали присягать. Они подходили один за другим, цалуя распятие и потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, резал у них косы. Они, отряхиваясь, подходили к руке Пугачева, который объявлял им прощение и принимал в свою шайку. Все это продолжалось около трех часов. Наконец Пугачев встал с кресел и сошел с крыльца в сопровождении своих старшин. Ему подвели белого коня, украшенного богатой сбруей. Два казака взяли его под руки и посадили на седло. Он объявил отцу

Герасиму, что будет обедать у него. В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздетую донага. Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку. Другие таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и всю рухлядь. «Батюшки мои!» — кричала бедная старушка. — «Отпустите душу на покаяние. Отцы родные, отведите меня к Ивану Кузмичу». Вдруг она взглянула на виселицу и узнала своего мужа. «Злодеи!» — закричала она в исступлении. — «Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузмич, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника!» — Унять старую ведьму! — сказал Пугачев. Тут молодой казак ударил ее саблею по голове, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачев уехал; народ бросился за ним.

Глава VIII.

Незваный гость.
Незваный гость хуже татарина.
Пословица.

Площадь опустела. Я все стоял на одном месте, и не мог привести в порядок мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями.

Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? что с нею? успела ли спрятаться? надежно ли ее убежище?.. Полный тревожными мыслями, я вошел в комендантский дом… Все было пусто; стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда перебита; все растаскано. Я взбежал по маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз отроду вошел в комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постелю, перерытую разбойниками; шкап был разломан и ограблен; лампадка теплилась еще перед опустелым кивотом. Уцелело и зеркальцо, висевшее в простенке… Где ж была хозяйка этой смиренной, девической кельи? Страшная мысль мелькнула в уме моем: я вообразил ее в руках у разбойников… Сердце мое сжалось… Я горько, горько заплакал, и громко произнес имя моей любезной… В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шкапа явилась Палаша, бледная и трепещущая.

«Ах, Петр Андреич!» — сказала она, сплеснув руками. — «Какой денек! какие страсти!..»

— А Марья Ивановна? — спросил я нетерпеливо, — что Марья Ивановна?

«Барышня жива» — отвечала Палаша. — «Она спрятана у Акулины Памфиловны».

— У попадьи! — вскричал я с ужасом. — Боже мой! да там Пугачев!..

Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометью побежал в дом свещенника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни... Пугачев пировал с своими товарищами. Палаша прибежала туда же за мною. Я подослал ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну. Через минуту попадья вышла ко мне в сени с пустым штофом в руках.

— Ради Бога! где Марья Ивановна? — спросил я с неизъяснимым волнением.

«Лежит, моя голубушка, у меня на кровати, там за перегородкою», — отвечала попадья. — «Ну, Петр Андреич, чуть было не стряслась беда, да слава Богу, все прошло благополучно: злодей только что уселся обедать, как она, моя бедняжка, очнется да застонет!.. Я так и обмерла. Он услышал: “А кто это у тебя охает, старуха?” Я вору в пояс: племянница моя, государь; захворала,

лежит, вот уж другая неделя. — “А молода твоя племянница?” — Молода, государь. — “А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу”. — У меня сердце так и йокнуло, да нечего было делать. — Изволь, государь; только девка-то не сможет встать и придти к твоей милости. — “Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу”. И ведь пошел окаянный за перегородку; как ты думаешь! ведь отдернул занавес, взглянул ястребиными своими глазами! — и ничего… Бог вынес! А веришь ли, я и батька мой так уж и приготовились к мученической смерти. К счастию, она, моя голубушка, не узнала его. Господи Владыко, дождались мы праздника! Нечего сказать! бедный Иван Кузмич! кто бы подумал!.. А Василиса-то Егоровна? А Иван-то Игнатьич? Его-то за что?.. Как это вас пощадили? А каков Швабрин, Алексей Иваныч? Ведь остригся в кружок и теперь у нас тут же с ними пирует! Проворен, нечего сказать. А как сказала я про больную племянницу, так он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь; однако не выдал, спасибо ему и за то». — В эту минуту раздались пьяные крики гостей и голос отца Герасима. Гости требовали вина, хозяин кликал сожительницу. Попадья расхлопоталась. — «Ступайте себе домой, Петр Андреич»,

— сказала она; — «теперь не до вас; у злодеев попойка идет. Беда, попадетесь под пьяную руку. Прощайте, Петр Андреич! Что будет, то будет; авось Бог не оставит».

Попадья ушла. Несколько успокоенный, я отправился к себе на квартиру. Проходя мимо площади, я увидел несколько башкирцев, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги с повешенных; с трудом удержал я порыв негодования, чувствуя бесполезность заступления. По крепости бегали разбойники, грабя офицерские дома. Везде раздавались крики пьянствующих мятежников. Я пришел домой. Савельич встретил меня у порога. «Слава Богу!» — вскричал он, увидя меня. — «Я было думал, что злодеи опять тебя подхватили. Ну, батюшка Петр Андреич! веришь ли? всё у нас разграбили, мошенники: платье, белье, вещи, посуду — ничего не оставили. Да что уж! Слава Богу, что тебя живого отпустили! А узнал ли ты, сударь, атамана?»

— Нет, не узнал; а кто же он такой?

«Как, батюшка? Ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе? Зайчий тулупчик совсем новешенький; а он, бестия, его так и распорол, напяливая на себя!»

Я изумился. В самом деле сходство Пугачева с

моим вожатым было разительно. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо, и понял тогда причину пощады, мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством!

«Не изволишь ли покушать?» — спросил Савельич, неизменный в своих привычках. — «Дома ничего нет; пойду, пошарю, да что-нибудь тебе изготовлю».

Оставшись один, я погрузился в размышления. Чтó мне было делать? Оставаться в крепости, подвластной злодею, или следовать за его шайкою было неприлично офицеру. Долг требовал, чтобы я явился туда, где служба моя могла еще быть полезна отечеству в настоящих, затруднительных обстоятельствах… Но любовь сильно советовала мне оставаться при Марьи Ивановне и быть ей защитником и покровителем. Хотя я и предвидел скорую и несомненную перемену в обстоятельствах, но все же не мог не трепетать, воображая опасность ее положения.

Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который прибежал с объяв-

лением, «что-де великий государь требует тебя к себе». — Где же он? — спросил я, готовясь повиноваться.

«В комендантском» — отвечал казак. — «После обеда батюшка наш отправился в баню, а теперь отдыхает. Ну, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная: за обедом скушать изволил двух жареных поросят, а па́рится так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник Фомке Бикбаеву, да насилу холодной водой откачался. Нечего сказать: все приемы такие важные… А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях: на одной двуглавый орел, величиною с пятак, а на другой персона его».

Я не почел нужным оспоривать мнение казака и с ним вместе отправился в комендантский дом, заранее воображая себе свидание с Пугачевым, и стараясь предугадать, чем оно кончится. Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен.

Начинало смеркаться, когда пришел я к комендантскому дому. Виселица с своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши всё еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. Казак, приведший меня, отправился про меня доложить, и тотчас же во-

ротившись ввел меня в ту комнату, где накануне так нежно прощался я с Марьей Ивановною.

Необыкновенная картина мне представилась: за столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожами и блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобраных изменников. «А, ваше благородие!» — сказал Пугачев, увидя меня. — «Добро пожаловать; честь и место, милости просим». Собеседники потеснились. Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкою. Все обходились между собою как товарищи, и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем

приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспоривал Пугачева. И на сем-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу: движение дерзкое, и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом! Поход был объявлен к завтрешнему дню. «Ну, братцы», — сказал Пугачев — «затянем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков! начинай!» — Сосед мой затянул тонким голоском заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне доброму молодцу думу думати.
Что заутра мне доброму молодцу в допрос идти
Перед грозного судью, самого царя.
Еще станет государь-царь меня спрашивать:
Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,
Еще много ли с тобой было товарищей?
Я скажу тебе, надежа православный царь,
Всее правду скажу тебе, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первый мой товарищ темная ночь,
А второй мой товарищ булатный нож,
А как третий-то товарищ, то мой добрый конь,

А четвертый мой товарищ, то тугой лук,
Что рассыльщики мои, то калены стрелы.
Что возговорит надежа православный царь:
Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалую
Середи поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной.

Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, — все потрясало меня каким-то пиитическим ужасом.

Гости выпили еще по стакану, встали из-за стола и простились с Пугачевым. Я хотел за ними последовать, но Пугачев сказал мне: «Сиди; я хочу с тобою переговорить». — Мы остались глаз на глаз.

Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредко прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной веселостию, что и я, глядя на него,

стал смеяться, сам не зная чему.

«Что, ваше благородие?» — сказал он мне. — Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею? Я чаю, небо с овчинку показалось… А покачался бы на перекладине, если бы не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь? (Тут он взял на себя вид важный и таинственный.) Ты крепко передо мною виноват» — продолжал он; — «но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь! Так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство! Обещаешься ли служить мне с усердием?»

Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться.

«Чему ты усмехаешься?» — спросил он меня нахмурясь. — «Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо».

Я смутился: признать бродягу государем — был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком — было подвергнуть себя погибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего

народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостию. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою. Я отвечал Пугачеву: Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смышленый: ты сам увидел бы, что я лукавствую.

«Кто же я таков, по твоему разумению?»

— Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.

Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь», — сказал он, — «чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?»

— Нет, — отвечал я с твердостию. — Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в

Оренбург.

Пугачев задумался. «А коли отпущу» — сказал он — «так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?»

— Как могу тебе в этом обещаться? — отвечал я. — Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя — пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня — спасибо; казнишь — Бог тебе судья; а я сказал тебе правду.

Моя искренность поразила Пугачева. «Так и быть» — сказал он, ударя меня по плечу. — Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себе спать, и меня уж дрема клонит».

Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости все было спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь и раздавались крики запоздалых гуляк. Я взглянул на дом священника. Ставни и вороты были заперты. Казалось все в нем было тихо.

Я пришел к себе на квартиру, и нашел Саве-

льича, горюющего по моем отсутствии. Весть о свободе моей обрадовала его несказанно. «Слава тебе, Владыко!» — сказал он перекрестившись. — «Чем свет оставим крепость и пойдем, куда глаза глядят. Я тебе кое-что заготовил; покушай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой».

Я последовал его совету и, поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомленный душевно и физически.

Глава IX.

Разлука.

Сладко было спознаваться
Мне, прекрасная, с тобой;
Грустно, грустно расставаться,
Грустно, будто бы с душой.
Херасков.

Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Там строились уже толпы пугачевские около виселицы, где все еще висели вчерашние жертвы. Казаки стояли верхами, солдаты под ружьем. Знамена развевались. Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Все жители находились тут же, ожидая самозванца. У крыльца комендантского дома казак держал под устцы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Я искал глазами тела комендантши. Оно было отнесено немного в сторону и прикрыто рогожею. Наконец Пугачев вышел из сеней. Народ снял шапки. Пугачев остановился на крыльце и со всеми поздоровался. Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами, и он стал их метать пригоршнями. Народ с криком бросился их подбирать, и дело обошлось не без увечья. Пугачева окружали главные из его сообщников.

Между ими стоял и Швабрин. Взоры наши встретились; в моем он мог прочесть презрение, и он отворотился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачев, увидев меня в толпе, кивнул мне головою и подозвал к себе. «Слушай» — сказал он мне. — «Ступай сей же час в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, чтоб ожидали меня к себе через неделю. Присоветуй им встретить меня с детской любовию и послушанием; не то не избежать им лютой казни. Счастливый путь, ваше благородие!» Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрина — «Вот вам, детушки, новый командир: слушайтесь его во всем, а он отвечает мне за вас и за крепость». С ужасом услышал я сии слова: Швабрин делался начальником крепости; Марья Ивановна оставалась в его власти! Боже, что с нею будет! Пугачев сошел с крыльца. Ему подвели лошадь. Он проворно вскочил в седло, не дождавшись казаков, которые хотели было подсадить его.

В это время, из толпы народа, вижу, выступил мой Савельич, подходит к Пугачеву, и подает ему лист бумаги. Я не мог придумать, что из того выдет. «Это что?» — спросил важно Пугачев. — Прочитай, так изволишь увидеть — отвечал

Савельич. Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. «Что ты так мудрено пишешь?» — сказал он наконец. — «Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Где мой обер-секретарь?»

Молодой малой в капральском мундире проворно подбежал к Пугачеву. «Читай в слух» — сказал самозванец, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее:

«Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей».

— Это что значит? — сказал, нахмурясь, Пугачев.

— Прикажи читать далее — отвечал спокойно Савельич.

Обер-секретарь продолжал:

«Мундир из тонкого зеленого сукна на семь рублей.

Штаны белые суконные на пять рублей.

Двенадцать рубах полотняных голландских с манжетами на десять рублей.

Погребец с чайною посудою на два рубля с полтиною…»

— Что за вранье? — прервал Пугачев. — Какое

мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?

Савельич крякнул и стал объясняться. «Это, батюшка, изволишь видеть, реестр барскому добру, раскраденному злодеями…»

— Какими злодеями? — спросил грозно Пугачев.

«Виноват: обмолвился» — отвечал Савельич. — «Злодеи не злодеи, а твои ребята таки пошарили, да порастаскали. Не гневись: конь и о четырех ногах да спотыкается. Прикажи уж дочитать».

— Дочитывай, — сказал Пугачев. Секретарь продолжал:

«Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумаге четыре рубля.

Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей.

Еще зайчий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей».

— Это что еще! — вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами.

Признаюсь, я перепугался за бедного моего дядьку. Он хотел было пуститься опять в объяснения, но Пугачев его прервал: «Как ты смел лезть ко мне с такими пустяками? — вскричал он, выхватя бумагу из рук секретаря и бросив ее в лицо Савельичу. — Глупый старик! Их обобрали:

экая беда? Да ты должен, старый хрыч, вечно Бога молить за меня да за моих ребят за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками… Зайчий тулуп! Я-те дам зайчий тулуп! Да знаешь ли ты, что я с тебя живого кожу велю содрать на тулупы?»

— Как изволишь, — отвечал Савельич; — а я человек подневольный и за барское добро должен отвечать.

Пугачев был видно в припадке великодушия. Он отворотился и отъехал, не сказав более ни слова. Швабрин и старшины последовали за ним. Шайка выступила из крепости в порядке. Народ пошел провожать Пугачева. Я остался на площади один с Савельичем. Дядька мой держал в руках свой реестр и рассматривал его с видом глубокого сожаления.

Видя мое доброе согласие с Пугачевым, он думал употребить оное в пользу; но мудрое намерение ему не удалось. Я стал было его бранить за неуместное усердие, и не мог удержаться от смеха. «Смейся, сударь», — отвечал Савельич; — «смейся; а как придется нам сызнова заводиться всем хозяйством, так посмотрим, смешно ли будет».

Я спешил в дом священника увидеться с Ма-

рьей Ивановной. Попадья встретила меня с печальным известием. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала без памяти и в бреду. Попадья ввела меня в ее комнату. Я тихо подошел к ее кровати. Перемена в ее лице поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоял я перед нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утешали. Мрачные мысли волновали меня. Состояние бедной, беззащитной сироты, оставленной посреди злобных мятежников, собственное мое бессилие устрашали меня. Швабрин, Швабрин пуще всего терзал мое воображение. Облеченный властию от самозванца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная девушка — невинный предмет его ненависти, он мог решиться на всё. Что мне было делать? Как подать ей помощь? Как освободить из рук злодея? Оставалось одно средство: я решился тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение Белогорской крепости, и по возможности тому содействовать. Я простился с священником и с Акулиной Памфиловной, с жаром поручая ей ту, которую почитал уже своею женою. Я взял руку бедной девушки и поцаловал ее, орошая слезами. «Прощайте» — говорила мне попадья,

провожая меня; — «прощайте, Петр Андреич. Авось увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и пишите к нам почаще. Бедная Марья Ивановна, кроме вас, не имеет теперь ни утешения, ни покровителя».

Вышед на площадь, я остановился на минуту, взглянул на виселицу, поклонился ей, вышел из крепости и пошел по Оренбургской дороге, сопровождаемый Савельичем, который от меня не отставал.

Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собою конский топот. Оглянулся; вижу: из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводья и делая издали мне знаки. Я остановился, и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав, слез с своей лошади и сказал, отдавая мне поводья другой: «Ваше благородие! Отец наш вам жалует лошадь и шубу с своего плеча (к седлу привязан был овчинный тулуп). Да еще», — примолвил запинаясь урядник, — «жалует он вам… полтину денег… да я растерял ее дорогою; простите великодушно». Савельич посмотрел на него косо и проворчал: Растерял дорогою! А что же у тебя побрякивает за пазухой? Бессовестный! — «Что у меня за пазухой-то побрякивает?» — возразил урядник, нимало не смутясь.

— «Бог с тобою, старинушка! Это бренчит уздечка, а не полтина». — Добро, — сказал я, — прерывая спор. — Благодари от меня того, кто тебя прислал; а растерянную полтину постарайся подобрать на возвратном пути, и возьми себе на водку. — «Очень благодарен, ваше благородие», — отвечал он, поворачивая свою лошадь; — «вечно за вас буду Бога молить». При сих словах он поскакал назад, держась одной рукою за пазуху, и через минуту скрылся из виду.

Я надел тулуп и сел верьхом, посадив за собою Савельича. «Вот видишь ли, сударь», — сказал старик, — что я не даром подал мошеннику челобитье: вору-то стало совестно, хоть башкирская долговязая кляча да овчинный тулуп не сто́ят и половины того, что они, мошенники, у нас украли, и того, что ты ему сам изволил пожаловать; да все же пригодится, а с лихой собаки хоть шерсти клок».

Глава X.

Осада города.

Заняв луга и горы,

С вершины, как орел, бросал на град он взоры.

За станом повелел соорудить раскат

И, в нем перуны скрыв, в нощи привесть под град.

Херасков.

Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укреплений, под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров; другие лопатками копали землю; на валу каменщики таскали кирпич, и чинили городскую стену. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала.

Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженные дыханием осени, и с помощию старого садовника бережно их укутывал теплой соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался, и стал расспрашивать об ужасных происшедствиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему всё. Старик слушал

меня со вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. «Бедный Миронов!» — сказал он, когда кончил я свою печальную повесть. — «Жаль его: хороший был офицер. И мадам Миронов добрая была дама, и какая майстерица грибы солить! А что Маша, капитанская дочка?» Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попадьи. «Ай, ай, ай! — заметил генерал. — Это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкою?» — Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко и что вероятно его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее жителей. Генерал покачал головою с видом недоверчивости. «Посмотрим, посмотрим», — сказал он. — «Об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю: сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о бездельнике Пугачеве и об его войске. Теперь покаместь поди отдохни».

Я пошел на квартиру, мне отведенную, где Савельич уже хозяйничал, и с нетерпением стал ожидать назначенного времени. Читатель легко себе представит, что я не преминул явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. В назначенный час я уже был у

генерала.

Я застал у него одного из городских чиновников, помнится, директора таможни, толстого и румяного старичка в глазетовом кафтане. Он стал расспрашивать меня о судьбе Ивана Кузмича, которого называл кумом, и часто прерывал мою речь дополнительными вопросами и нравоучительными замечаниями, которые, если и не обличали в нем человека сведущего в военном искусстве, то по крайней мере обнаруживали сметливость и природный ум. Между тем собрались и прочие приглашенные. Между ими, кроме самого генерала, не было ни одного военного человека. Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, в чем состояло дело. «Теперь, господа», — продолжал он, — «надлежит решить, как нам действовать противу мятежников: *наступательно,* или *оборонительно*? Каждый из оных способов имеет свою выгоду и невыгоду. Действие наступательное представляет более надежды на скорейшее истребление неприятеля; действие оборонительное более верно и безопасно… Итак начнем собирать голоса по законному порядку, то есть, начиная с младших по чину. Г. прапорщик!» — продолжал он, обращаясь ко мне.

— «Извольте объяснить нам ваше мнение».

Я встал и, в коротких словах описав сперва Пугачева и шайку его, сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять противу правильного оружия.

Мнение мое было принято чиновниками с явною неблагосклонностию. Они видели в нем опрометчивость и дерзость молодого человека. Поднялся ропот, и я услышал явственно слово: молокосос, произнесенное кем-то вполголоса. Генерал обратился ко мне и сказал с улыбкою: «Г. прапорщик! Первые голоса на военных советах подаются обыкновенно в пользу движений наступательных; это законный порядок. Теперь станем продолжать собирание голосов. Г. коллежский советник! скажите нам ваше мнение!»

Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ромом, и отвечал генералу: «Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно».

«Как же так, господин коллежский советник?» — возразил изумленный генерал. — «Других способов тактика не представляет: движение оборонительное, или наступательное…»

— Ваше превосходительство, двигайтесь под-

купательно.

«Э-хе-хе! мнение ваше весьма благоразумно. Движения подкупательные тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать за голову бездельника… рублей семьдесят или даже сто… из секретной суммы…»

— И тогда, — прервал таможенный директор, — будь я киргизской баран, а не коллежский советник, если эти воры не выдадут нам своего атамана, скованного по рукам и по ногам.

«Мы еще об этом подумаем и потолкуем» — отвечал генерал. — «Однако, надлежит во всяком случае предпринять и военные меры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку».

Все мнения оказались противными моему. Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверности удачи, об осторожности, и тому подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться под прикрытием пушек, за крепкой каменной стеною, нежели на открытом поле испытывать счастие оружия. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытрехнул пепел из трубки и произнес следующую речь:

«Государи мои! должен я вам объявить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен: ибо мнение сие основано

на всех правилах здравой тактики, которая всегда почти наступательные движения оборонительным предпочитает».

Тут он остановился, и стал набивать свою трубку. Самолюбие мое торжествовало. Я гордо посмотрел на чиновников, которые между собою перешептывались с видом неудовольствия и беспокойства.

«Но, государи мои», — продолжал он, выпустив, вместе с глубоким вздохом, густую струю табачного дыму — «я не смею взять на себя столь великую ответственность, когда дело идет о безопасности вверенных мне провинций ее императорским величеством, всемилостивейшей моею государыней. Итак я соглашаюсь с большинством голосов, которое решило, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ожидать осады, а нападения неприятеля силой артиллерии и (буде окажется возможным) вылазками — отражать».

Чиновники в свою очередь насмешливо поглядели на меня. Совет разошелся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который, наперекор собственному убеждению, решался следовать мнениям людей несведущих и неопытных.

Спустя несколько дней после сего знаменитого

совета, узнали мы, что Пугачев, верный своему обещанию, приближился к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их вдесятеро увеличилось со времени последнего приступа, коему был я свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных. Вспомня решение совета, я предвидел долговременное заключение в стенах оренбургских, и чуть не плакал от досады.

Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что сия осада по неосторожности местного начальства была гибельна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Легко можно себе вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая несносная. Все с унынием ожидали решения своей участи; все охали от дороговизны, которая в самом деле была ужасна. Жители привыкли к ядрам, залетавшим на их дворы; даже приступы Пугачева уж не привлекали общего любопытства. Я умирал со скуки. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о ее судьбе меня

мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева, я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищею и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. В этих перестрелках перевес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и доброконных. Тощая городовая конница не могла их одолеть. Иногда выходила в поле и наша голодная пехота; но глубина снега мешала ей действовать удачно противу рассеянных наездников. Артиллерия тщетно гремела с высоты вала, а в поле вязла и не двигалась по причине изнурения лошадей. Таков был образ наших военных действий! И вот что оренбургские чиновники называли осторожностию и благоразумием!

Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, отставшего от своих товарищей; я готов был уже ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал: «Здравствуйте, Петр Андреич! Как вас Бог милует?»

Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался. — Здравствуй, Максимыч, — сказал я ему. — Давно ли из Белогорской?

«Недавно, батюшка Петр Андреич; только вче-

ра воротился. У меня есть к вам письмецо».

— Где ж оно? — вскричал я, весь так и вспыхнув.

«Со мною» — отвечал Максимыч, положив руку за пазуху. — «Я обещался Палаше уж как-нибудь да вам доставить». Тут он подал мне сложенную бумажку и тотчас ускакал. Я развернул ее и с трепетом прочел следующие строки:

«Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери: не имею на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали мне добра, и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю Бога, чтоб это письмо как-нибудь до вас дошло! Максимыч обещал вам его доставить. Палаша слышала так же от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках, и что вы совсем себя не бережете и не думаете о тех, которые за вас со слезами Бога молят. Я долго была больна; а когда выздоровела, Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застращав Пугачевым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выдти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, будто бы

я ее племянница. А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женою такого человека, каков Алексей Иванович. Он обходится со мною очень жестоко и грозится, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею, и с вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой. Я просила Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать еще три дня; а коли через три дня за него не выду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка Петр Андреич! вы один у меня покровитель; заступитесь за меня бедную. Упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее сикурсу, да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная бедная сирота

Марья Миронова».

Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город, без милосердия пришпоривая бедного моего коня. Дорогою придумывал я и то и другое для избавления бедной девушки и ничего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу, и опрометью к нему вбежал.

Генерал ходил взад и вперед по комнате, куря свою пенковую трубку. Увидя меня, он остановился. Вероятно, вид мой поразил его; он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода. — Ваше превосходительство, — сказал я

ему, — прибегаю к вам, как к отцу родному; ради Бога, не откажите мне в моей просьбе: дело идет о счастии всей моей жизни.

«Что такое, батюшка?» — спросил изумленный старик. — «Что я могу для тебя сделать? Говори».

— Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и пол-сотни казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость.

Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел (в чем почти и не ошибался).

«Как это? Очистить Белогорскую крепость?» — сказал он наконец.

— Ручаюсь вам за успех, — отвечал я с жаром. — Только отпустите меня.

«Нет, молодой человек», — сказал он качая головою. — «На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресеченная коммуникация…»

Я испугался, увидя его завлеченного в военные рассуждения, и спешил его прервать. — Дочь капитана Миронова, — сказал я ему, — пишет ко мне письмо: она просит помощи; Швабрин принуждает ее выдти за него замуж.

«Неужто? О, этот Швабрин превеликий Schelm, и если попадется ко мне в руки, то я велю его судить в 24 часа, и мы расстреляем его на парапете крепости! Но покаместь надобно взять терпение…

— Взять терпение! — вскричал я вне себя. — А он между тем женится на Марье Ивановне!..

«О!» — возразил генерал. — «Это еще не беда: лучше ей быть покаместь женою Швабрина: он теперь может оказать ей протекцию; а когда его расстреляем, тогда, Бог даст, сыщутся ей и женишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят; то есть, хотел я сказать, что вдовушка скорее найдет себе мужа, нежели девица».

— Скорее соглашусь умереть, — сказал я в бешенстве, — нежели уступить ее Швабрину!

«Ба, ба, ба, ба!» — сказал старик. — «Теперь понимаю: ты, видно, в Марью Ивановну влюблен. О, дело другое! Бедный малый! Но все же я никак не могу дать тебе роту солдат и пол-сотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоразумна; я не могу взять ее на свою ответственность».

Я потупил голову; отчаяние мною овладело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей: в чем оная состояла, читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты.

Глава XI.

Мятежная слобода.
В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп.
«Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?»
Спросил он ласково.
Л. Сумароков

Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещанием. «Охота тебе, сударь, переведываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело? Не равён час: ни за что пропадешь. И добро бы уж ходил ты на турку или на шведа, а то грех и сказать на кого».

Я прервал его речь вопросом: сколько у меня всего-на-все денег? «Будет с тебя» — отвечал он с довольным видом. — «Мошенники как там ни шарили, а я все-таки успел утаить». И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелек, полный серебра. «Ну, Савельич, — сказал я ему, — отдай же мне теперь половину; а остальное возьми себе. Я еду в Белогорскую крепость».

«Батюшка Петр Андреич!» — сказал добрый дядька дрожащим голосом. — «Побойся Бога; как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от разбойников! Пожалей ты хоть своих родителей, коли сам себя не жалеешь.

Куда тебе ехать? Зачем? Погоди маленько: войска придут, переловят мошенников; тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны».

Но намерение мое было твердо принято. — Поздно рассуждать, — отвечал я старику. — Я должен ехать, я не могу не ехать. Не тужи, Савельич: Бог милостив; авось увидимся! Смотри же, не совестись и не скупись. Покупай, что тебе будет нужно, хоть в три-дорога. Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня я не ворочусь…

«Что ты это, сударь?» — прервал меня Савельич. — «Чтоб я тебя пустил одного! Да этого и во сне не проси. Коли ты уж решился ехать, то я хоть пешком да пойду за тобой, а тебя не покину. Чтоб я стал без тебя сидеть за каменной стеною? Да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану».

Я знал, что с Савельичем спорить было нечего, и позволил ему приготовляться в дорогу. Через пол часа я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств кормить ее. Мы приехали к городским воротам; караульные нас пропустили; мы выехали из Оренбурга.

Начинало смеркаться. Путь мой шел мимо

Бердской слободы, пристанища Пугачевского. Прямая дорога занесена была снегом; но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мною издали, и кричал мне поминутно: «Потише, сударь, ради Бога потише. Проклятая клячонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того и гляди… Петр Андреич… батюшка Петр Андреич!.. Не погуби!.. Господи Владыко, пропадет барское дитя!»

Вскоре засверкали Бердские огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплениям слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Я надеялся объехать слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой человек пять мужиков, вооруженных дубинами; это был передовой караул пугачевского пристанища. Нас окликали. Не зная пароля, я хотел молча проехать мимо их; но они меня тотчас окружили, и один из них схватил лошадь мою за узду. Я выхватил саблю, и ударил мужика по голове; шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали; я воспользовался этой минутою, пришпорил лошадь и поскакал.

Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как вдруг, оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною не было. Бедный старик на своей хромой лошади не мог ускакать от разбойников.

Что было делать? Подождав его несколько минут, и удостоверясь в том, что он задержан, я поворотил лошадь и отправился его выручать.

Подъезжая к оврагу, услышал я издали шум, крики и голос моего Савельича. Я поехал скорее, и вскоре очутился снова между караульными мужиками, остановившими меня несколько минут тому назад. Савельич находился между ими. Они стащили старика с его клячи и готовились вязать. Прибытие мое их обрадовало. Они с криком бросились на меня и мигом стащили с лошади. Один из них, повидимому главный, объявил нам, что он сейчас поведет нас к государю. «А наш батюшка» — прибавил он — «волен приказать: сейчас ли вас повесить, али дождаться свету Божия». Я не противился; Савельич последовал моему примеру, и караульные повели нас с торжеством.

Мы перебрались через овраг и вступили в слободу. Во всех избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу; но никто в темноте нас не заметил

и не узнал во мне оренбургского офицера. Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. «Вот и дворец» — сказал один из мужиков: — «сейчас об вас доложим». Он вошел в избу. Я взглянул на Савельича; старик крестился, читая про себя молитву. Я дожидался долго; наконец мужик воротился и сказал мне: «Ступай: наш батюшка велел впустить офицера».

Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики. Она освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеяны были золотою бумагою; впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками, — все было как в обыкновенной избе. Пугачев сидел под образами, в красном кафтане, в высокой шапке, и важно подбочась. Около него стояло несколько из главных его товарищей, с видом притворного подобострастия. Видно было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга пробудила в бунтовщиках сильное любопытство, и что они приготовились встретить меня с торжеством. Пугачев узнал меня с первого взгляду. Поддельная важность его вдруг исчезла. «А, ваше благородие!» — сказал он мне с живостию. — «Как поживаешь? За чем тебя

Бог принес?» Я отвечал, что ехал по своему делу и что люди его меня остановили. «А по какому делу?» — спросил он меня. Я не знал, что отвечать. Пугачев, пологая, что я не хочу объясняться при свидетелях, обратился к своим товарищам и велел им выдти. Все послушались, кроме двух, которые не тронулись с места. «Говори смело при них» — сказал мне Пугачев: — «от них я ничего не таю». Я взглянул наискось на наперсников самозванца. Один из них, щедушный и сгорбленный старичок с седою бородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. Но ввек не забуду его товарища. Он был высокого росту, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубахе, в киргизском халате и в казацких шароварах. Первый (как узнал я после) был беглый капрал Белобородов; второй Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей), ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников. Не смотря на чувства, исключительно меня волновавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился,

сильно развлекало мое воображение. Но Пугачев привел меня в себя своим вопросом: «Говори: по какому же делу выехал ты из Оренбурга?»

Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действо мое намерение. Я решился им воспользоваться и, не успев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачева:

— Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают.

Глаза у Пугачева засверкали. «Кто из моих людей смеет обижать сироту?» — закричал он. — «Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?»

— Швабрин виноватый, — отвечал я. — Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел, больную, у попадьи, и насильно хочет на ней жениться.

«Я проучу Швабрина» — сказал грозно Пугачев. — «Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу».

«Прикажи слово молвить» — сказал Хлопуша хриплым голосом. — «Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков,

посадив дворянина им в начальники; не пугай же дворян, казня их по первому наговору».

«Нечего их ни жалеть, ни жаловать!» — сказал старичок в голубой ленте. — «Швабрина сказнить не беда; а не худо и господина офицера допросить порядком: зачем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать, а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную да запалить там огоньку: мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров».

Логика старого злодея показалась мне довольно убедительною. Мороз пробежал по всему моему телу, при мысли, в чьих руках я находился. Пугачев заметил мое смущение. «Ась, ваше благородие?» — сказал он мне подмигивая. — «Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?»

Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что я нахожусь в его власти и что он волен поступать со мною, как ему будет угодно.

«Добро» — сказал Пугачев. — «Теперь скажи, в каком состоянии ваш город».

— Слава Богу, — отвечал я; — все благополучно.

«Благополучно?» — повторил Пугачев. — «А народ мрет с голоду!»

Самозванец говорил правду; но я по долгу присяги стал уверять, что все это пустые слухи, и что в Оренбурге довольно всяких запасов.

«Ты видишь» — подхватил старичок, — «что он тебя в глаза обманывает. Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину, и то за честь; а его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на той же виселице повесь и этого молодца, чтоб никому не было завидно».

Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева. К счастию Хлопуша стал противоречить своему товарищу. «Полно, Наумыч», — сказал он ему. — «Тебе бы все душить, да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?»

— Да ты что за угодник? — возразил Белобородов. — У тебя-то откуда жалость взялась?

«Конечно» — отвечал Хлопуша, — «и я грешен, и эта рука (тут он сжал свой костлявый кулак, и, засуча рукава, открыл косматую руку), и эта рука

повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутьи да в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим наговором».

Старик отворотился и проворчал слова: «рваные ноздри!»...

— Что ты там шепчешь, старый хрыч? — закричал Хлопуша. — Я тебе дам рваные ноздри; погоди, придет и твое время; Бог даст, и ты щипцов понюхаешь... А покамест смотри, чтоб я тебе бородишки не вырвал!

«Господа енаралы!» — провозгласил важно Пугачев. — «Полно вам ссориться. Не беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной; беда, если наши кобели меж собою перегрызутся. Ну, помиритесь».

Хлопуша и Белобородов не сказали ни слова, и мрачно смотрели друг на друга. Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом: Ах! Я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге.

Уловка моя удалась. Пугачев развеселился. «Долг платежом красен», — сказал он, мигая и

прищуриваясь. — «Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж не зазноба ли сердцу молодецкому? а?»

— Она невеста моя, — отвечал я Пугачеву, видя благоприятную перемену погоды и не находя нужды скрывать истину.

«Твоя невеста!» — закричал Пугачев. — «Что ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим, и на свадьбе твоей попируем!» — Потом обращаясь к Белобородову: — «Слушай, фельдмаршал! Мы с его благородием старые приятели; сядем-ка да поужинаем; утро вечера мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем».

Я рад был отказаться от предлагаемой чести, но делать было нечего. Две молодые казачки, дочери хозяина избы, накрыли стол белой скатертью, принесли хлеба, ухи и несколько штофов с вином и пивом, и я вторично очутился за одною трапезою с Пугачевым и с его страшными товарищами.

Оргия, коей я был невольным свидетелем, продолжалась до глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников. Пугачев задремал, сидя на своем месте; товарищи его встали и дали мне знак оставить его. Я вышел вместе с ними. По распоряжению Хлопуши, караульный отвел меня

в приказную избу, где я нашел и Савельича и где меня оставили с ним взаперти. Дядька был в таком изумлении при виде всего, что́ происходило, что не сделал мне никакого вопроса. Он улегся в темноте, и долго вздыхал и охал; наконец захрапел, а я предался размышлениям, которые во всю ночь ни на одну минуту не дали мне задремать.

Поутру пришли меня звать от имени Пугачева. Я пошел к нему. У ворот его стояла кибитка, запряженная тройкою татарских лошадей. Народ толпился на улице. В сенях встретил я Пугачева: он был одет по-дорожному, в шубе и в киргизской шапке. Вчерашние собеседники окружали его, приняв на себя вид подобострастия, который сильно противуречил всему, чему я был свидетелем накануне. Пугачев весело со мною поздоровался, и велел мне садиться с ним в кибитку.

Мы уселись. «В Белогорскую крепость!» — сказал Пугачев широкоплечему татарину, сто́я правящему тройкою. Сердце мое сильно забилось. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела…

«Стой! стой!» раздался голос, слишком мне знакомый, — и я увидел Савельича, бежавшего нам на встречу. Пугачев велел остановиться.

«Батюшка, Петр Андреич!» — кричал дядька. — «Не покинь меня на старости лет посреди этих мошен…» — А, старый хрыч! — сказал ему Пугачев. — Опять Бог дал свидеться. Ну, садись на облучок».

«Спасибо, государь, спасибо, отец родной!» — говорил Савельич, усаживаясь. — «Дай Бог тебе сто лет здравствовать за то, что меня старика призрил и успокоил. Век за тебя буду Бога молить, а о зайчьем тулупе и упоминать уж не стану».

Этот зайчий тулуп мог наконец не на шутку рассердить Пугачева. К счастию, самозванец или не расслыхал или пренебрег неуместным намеком. Лошади поскакали; народ на улице останавливался и кланялся в пояс. Пугачев кивал головою на обе стороны. Через минуту мы выехали из слободы и помчались по гладкой дороге.

Легко можно себе представить, что́ чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен я был увидеться с той, которую почитал уже для меня потерянною. Я воображал себе минуту нашего соединения… Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба, и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках

того, кто вызывался быть и избавителем моей любезной! Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабрин мог открыть ему все; Пугачев мог проведать истину и другим образом… Тогда что станется с Марьей Ивановной? Холод пробегал по моему телу, и волоса становились дыбом…

Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом:

«О чем, ваше благородие, изволил задуматься?»

— Как не задуматься, — отвечал я ему. — Я офицер и дворянин; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастие всей моей жизни зависит от тебя.

«Что ж?» — спросил Пугачев. — «Страшно тебе?»

Я отвечал, что быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.

«И ты прав, ей Богу прав!» — сказал самозванец. — «Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо; а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион, и что надобно тебя пытать и повесить; но я не согласился», — прибавил он, понизив голос, чтоб Савельич и татарин не могли его услышать,

— «помня твой стакан вина и зайчий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья».

Я вспомнил взятие Белогорской крепости; но не почел нужным его оспоривать, и не отвечал ни слова.

«Что говорят обо мне в Оренбурге?» — спросил Пугачев, помолчав немного.

— Да говорят, что с тобою сладить трудновато; нечего сказать: дал ты себя знать.

Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие. «Да!» — сказал он с веселым видом. — «Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? Сорок енаралов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?»

Хвастливость разбойника показалась мне забавна. — Сам как ты думаешь? — сказал я ему, — управился ли бы ты с Фридериком?

«С Федор Федоровичем? А как же нет? С вашими енаралами ведь я же управляюсь; а они его бивали. Доселе оружие мое было счастливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву».

— А ты полагаешь идти на Москву?

Самозванец несколько задумался и сказал в пол-голоса: «Бог весть. Улица моя тесна; воли

мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою».

— То-то! — сказал я Пугачеву. — Не лучше ли тебе отстать от них самому, заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?

Пугачев горько усмехнулся. «Нет», — отвечал он; — «поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать как начал. Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою».

— А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его пеплом пушку и выпалили!

«Слушай» — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением. — «Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-на́-все только тридцать три года? — Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать, да похваливать. Орел клюнул раз,

клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст! — Какова калмыцкая сказка?»

— Затейлива, — отвечал я ему. — Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину.

Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления. Татарин затянул унылую песню; Савельич, дремля, качался на облучке. Кибитка летела по гладкому зимнему пути… Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу Яика, с частоколом и с колокольней — и через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость.

Глава XII.

Сирота.
Как у нашей у яблоньки
Ни верхушки нет, ни отросточек;
Как у нашей у княгинюшки
Ни отца нету, ни матери.
Снарядить-то ее некому,
Благословить-то ее некому.
Свадебная песня.

Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачева и толпою бежал за нами. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезть из кибитки, в подлых выражениях изъявляя свою радость и усердие. Увидя меня, он смутился; но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: «И ты наш? Давно бы так!» — Я отворотился от него и ничего не отвечал.

Сердце мое заныло, когда очутились мы в давно знакомой комнате, где на стене висел еще диплом покойного коменданта, как печальная эпитафия прошедшему времени. Пугачев сел на том диване, на котором, бывало, дремал Иван Кузмич, усыпленный ворчанием своей супруги. Швабрин сам поднес ему водки. Пугачев выпил

рюмку, и сказал ему, указав на меня: «Попотчуй и его благородие». Швабрин подошел ко мне с своим подносом; но я вторично от него отворотился. Он казался сам не свой. При обыкновенной своей сметливости он, конечно, догадался, что Пугачев был им недоволен. Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивостию. Пугачев осведомился о состоянии крепости, о слухах про неприятельские войска и тому подобном, и вдруг спросил его неожиданно: «Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее».

Швабрин побледнел как мертвый. — Государь, — сказал он дрожащим голосом… — Государь, она не под караулом… она больна… она в светлице лежит.

«Веди ж меня к ней», — сказал самозванец, вставая с места. Отговориться было невозможно. Швабрин повел Пугачева в светлицу Марьи Ивановны. Я за ними последовал.

Швабрин остановился на лестнице. «Государь!» — сказал он. — «Вы властны требовать от меня, что вам угодно; но не прикажите постороннему входить в спальню к жене моей».

Я затрепетал. «Так ты женат!» — сказал я Швабрину, готовяся его растерзать.

«Тише!» — прервал меня Пугачев. — «Это мое дело. А ты» — продолжал он, обращаясь к Швабрину, — «не умничай и не ломайся: жена ли она тебе или не жена, а я веду к ней кого хочу. Ваше благородие, ступай за мною».

У дверей светлицы Швабрин опять остановился и сказал прерывающимся голосом: «Государь предупреждаю вас, что она в белой горячке, и третий день как бредит без умолку».

— Отворяй! — сказал Пугачев.

Швабрин стал искать у себя в карманах, и сказал, что не взял с собою ключа. Пугачев толкнул дверь ногою; замок отскочил; дверь отворилась, и мы вошли.

Я взглянул, и обмер. На полу, в крестьянском оборванном платье сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало — не помню.

Пугачев посмотрел на Швабрина, и сказал с горькой усмешкою: «Хорош у тебя лазарет!» — Потом, подошед к Марье Ивановне: — «Скажи мне, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? В чем ты перед ним провинилась?»

— Мой муж! — повторила она. — Он мне не муж.

Я никогда не буду его женою! Я лучше решилась умереть, и умру, если меня не избавят.

Пугачев взглянул грозно на Швабрина: «И ты смел меня обманывать!» сказал он ему. «Знаешь ли, бездельник, чего ты достоин?»

Швабрин упал на колени… В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака. Пугачев смягчился. «Милую тебя на сей раз», — сказал он Швабрину; — «но знай, что при первой вине тебе припомнится и эта». Потом обратился он к Марье Ивановне, и сказал ей ласково: «Выходи, красная девица; дарую тебе волю. Я государь».

Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед нею убийца ее родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. Я кинулся к ней; но в эту минуту очень смело в комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своею барышнею. Пугачев вышел из светлицы, и мы трое сошли в гостиную.

«Что, ваше благородие?» сказал, смеясь, Пугачев. «Выручили красную девицу! Как думаешь, не послать ли за попом, да не заставить ли его обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду посажё-

ным отцом, Швабрин дружкою; закутим, запьем — и ворота запрем!»

Чего я опасался, то и случилось. Швабрин, услыша предложение Пугачева, вышел из себя. «Государь!» — закричал он в исступлении. — «Я виноват, я вам солгал; но и Гринев вас обманывает. Эта девушка не племянница здешнего попа: она дочь Ивана Миронова, который казнен при взятии здешней крепости».

Пугачев устремил на меня огненные свои глаза. «Это что еще?» — спросил он меня с недоумением.

— Швабрин сказал тебе правду, — отвечал я с твердостию.

«Ты мне этого не сказал», — заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось.

— Сам ты рассуди, — отвечал я ему, — можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы ее загрызли. Ничто ее бы не спасло!

«И то правда» — сказал смеясь Пугачев. — «Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка-попадья, что обманула их».

— Слушай, — продолжал я, видя его доброе расположение. — Как тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу… Но Бог видит, что жизнию моей

рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедной сиротою, куда нам Бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души…

Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. «Ин быть по-твоему!» — сказал он. — «Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези ее, куда хочешь, и дай вам Бог любовь да совет!»

Тут он оборотился к Швабрину и велел выдать мне пропуск во все заставы и крепости, подвластные ему. Швабрин, совсем уничтоженный, стоял как остолбенелый. Пугачев отправился осматривать крепость. Швабрин его сопровождал; а я остался под предлогом приготовлений к отъезду.

Я побежал в светлицу. Двери были заперты. Я постучался. «Кто там?» спросила Палаша. Я назвался. Милый голосок Марьи Ивановны раздался из-за дверей: «Погодите, <Петр Андреич>. Я переодеваюсь. Ступайте к Акулине Памфиловне: я сейчас туда же буду».

Я повиновался и пошел в дом отца Герасима. И

он и попадья выбежали ко мне навстречу. Савельич их уже предупредил. «Здравствуйте, Петр Андреич», — говорила попадья. — «Привел Бог опять увидеться. Как поживаете? А мы-то про вас каждый день поминали. А Марья-то Ивановна всего натерпелась без вас, моя голубушка!.. Да скажите, мой отец, как это вы с Пугачевым-то поладили? Как он это вас не укокошил? Добро, спасибо злодею и за то». — Полно, старуха, — прервал отец Герасим. — Не все то ври, что знаешь. Несть спасения во многом глаголании. Батюшка Петр Андреич! войдите, милости просим. Давно, давно не видались.

Попадья стала угощать меня чем Бог послал. А между тем говорила без умолку. Она рассказала мне, каким образом Швабрин принудил их выдать ему Марью Ивановну; как Марья Ивановна плакала и не хотела с ними расстаться; как Марья Ивановна имела с нею всегдашние сношения через Палашку (девку бойкую, которая и урядника заставляет плясать по своей дудке); как она присоветовала Марье Ивановне написать ко мне письмо и прочее. Я в свою очередь рассказал ей вкратце свою историю. Поп и попадья крестились, услыша, что Пугачеву известен их обман. «С нами сила крестная!» — говорила Акулина

Памфиловна. — «Промчи Бог тучу мимо. Ай-да Алексей Иваныч; нечего сказать: хорош гусь!» — В самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна вошла с улыбкою на бледном лице. Она оставила свое крестьянское платье и одета была по-прежнему просто и мило.

Я схватил ее руку и долго не мог вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали от полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что нам было не до них, и оставили нас. Мы остались одни. Все было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна рассказала мне все, что с нею ни случилось с самого взятия крепости; описала мне весь ужас ее положения, все испытания, которым подвергал ее гнусный Швабрин. Мы вспомнили и прежнее счастливое время… Оба мы плакали… Наконец я стал объяснять ей мои предположения. Оставаться ей в крепости, подвластной Пугачеву и управляемой Швабриным, было невозможно. Нельзя было думать и об Оренбурге, претерпевающем все бедствия осады. У ней не было на свете ни одного родного человека. Я предложил ей ехать в деревню к моим родителям. Она сначала колебалась: известное ей неблагорасположение отца моего ее пугало. Я ее успокоил. Я знал, что отец почтет за счастие и вменит себе в обязанность

принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество. — Милая Марья Ивановна! — сказал я наконец. — Я почитаю тебя своею женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно: ничто на свете не может нас разлучить. — Марья Ивановна выслушала меня просто, без притворной застенчивости, без затейливых отговорок. Она чувствовала, что судьба ее соединена была с моею. Но она повторила, что не иначе будет моею женою, как с согласия моих родителей. Я ей и не противуречил. Мы поцаловались горячо, искренно — и таким образом все было между нами решено.

Через час урядник принес мне пропуск, подписанный каракулками Пугачева, и позвал меня к нему от его имени. Я нашел его готового пуститься в дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце.

Мы расстались дружески. Пугачев, увидя в толпе Акулину Памфиловну, погрозил пальцем и мигнул значительно; потом сел в кибитку, велел ехать в Берду, и когда лошади тронулись, то он еще раз высунулся из кибитки и закричал мне: «Прощай, ваше благородие! Авось увидимся когда-нибудь». — Мы точно с ним увиделись, но в каких обстоятельствах!..

Пугачев уехал. Я долго смотрел на белую степь, по которой неслась его тройка. Народ разошелся. Швабрин скрылся. Я воротился в дом священника. Все было готово к нашему отъезду; я не хотел более медлить. Добро наше все было уложено в старую комендантскую повозку. Ямщики мигом заложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься с могилами своих родителей, похороненных за церковью. Я хотел ее проводить, но она просила меня оставить ее одну. Через несколько минут она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отец Герасим и жена его вышли на крыльцо. Мы сели в кибитку втроем: Марья Ивановна с Палашей и я. Савельич забрался на облучок. «Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! прощайте, Петр Андреич, сокол наш ясный!» — говорила добрая попадья. — «Счастливый путь, и дай Бог вам обоим счастия!»

Мы поехали. У окошка комендантского дома я увидел стоящего Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом, и обратил глаза в другую сторону. Наконец мы выехали из крепостных ворот и навек оставили Белогорскую крепость.

Глава XIII.

Арест.

Не гневайтесь, сударь: по долгу моему
Я должен сей же час отправить вас в тюрьму.
— Извольте, я готов; но я в такой надежде,
Что дело объяснить дозволите мне прежде.
Княжнин.

Соединенный так нечаянно с милой девушкою, о которой еще утром я так мучительно беспокоился, я не верил самому себе и воображал, что все со мною случившееся было пустое сновидение. Марья Ивановна глядела с задумчивостию то на меня, то на дорогу, и, казалось, не успела еще опомниться и придти в себя. Мы молчали. Сердца наши слишком были утомлены. Неприметным образом часа через два очутились мы в ближней крепости, также подвластной Пугачеву. Здесь мы переменили лошадей. По скорости, с каковой их запрягали, по торопливой услужливости брадатого казака, поставленного Пугачевым в коменданты, я увидел, что, благодаря болтливости ямщика, нас привезшего, меня принимали как придворного временщика.

Мы отправились далее. Стало смеркаться. Мы приближились к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд,

идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопрос: кто едет? ямщик отвечал громогласно: «Государев кум со своею хозяюшкою». Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасною бранью. «Выходи, бесов кум!» — сказал мне усастый вахмистр. — «Вот ужо тебе будет баня, и с твоею хозяюшкою!»

Я вышел из кибитки и требовал, чтоб отвели меня к их начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистр повел меня к майору. Савельич от меня не отставал, поговаривая про себя: «Вот тебе и государев кум! Из огня да в полымя... Господи Владыко! чем это все кончится?» Кибитка шагом поехала за нами.

Через пять минут мы пришли к домику, ярко освещенному. Вахмистр оставил меня при карауле и пошел обо мне доложить. Он тотчас же воротился, объявив мне, что его высокоблагородию некогда меня принять, а что он велел отвести меня в острог, а хозяюшку к себе привести.

— Что это значит? — закричал я в бешенстве. — Да разве он с ума сошел?

«Не могу знать, ваше благородие», — отвечал вахмистр. — «Только его высокоблагородие приказал ваше благородие отвести в острог, а ее благородие приказано привести к его высокобла-

городию, ваше благородие!»

Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк. Майор метал. Каково было мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в Симбирском трактире!

— Возможно ли? — вскричал я. — Иван Иваныч! ты ли?

«Ба, ба, ба, Петр Андреич! Какими судьбами? Откуда ты? Здорово, брат. Не хочешь ли поставить карточку?»

— Благодарен. Прикажи-ка лучше отвести мне квартиру.

«Какую тебе квартиру? Оставайся у меня».

— Не могу: я не один.

«Ну, подавай сюда и товарища».

— Я не с товарищем; я… с дамою.

«С дамою! Где же ты ее подцепил? Эге, брат!» (При сих словах Зурин засвистел так выразительно, что все захохотали, а я совершенно смутился.)

«Ну» — продолжал Зурин: — «так и быть. Будет тебе квартира. А жаль… Мы бы попировали по-старинному… Гей! малой! Да что ж сюда не

ведут кумушку-то Пугачева? или она упрямится? Сказать ей, чтоб она не боялась: барин-де прекрасный; ничем не обидит, да хорошенько ее в шею».

— Что ты это? — сказал я Зурину. — Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойного капитана Миронова. Я вывез ее из плена и теперь провожаю до деревни батюшкиной, где и оставлю ее.

«Как! Так это о тебе мне сейчас докладывали? Помилуй! что ж это значит?»

— После всё расскажу. А теперь, ради Бога, успокой бедную девушку, которую гусары твои перепугали.

Зурин тотчас распорядился. Он сам вышел на улицу извиняться перед Марьей Ивановной в невольном недоразумении, и приказал вахмистру отвести ей лучшую квартиру в городе. Я остался ночевать у него.

Мы отужинали, и когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием. Когда я кончил, он покачал головою и сказал: «Все это, брат, хорошо; одно нехорошо: зачем тебя черт несет жениться? Я, честный офицер, не захочу тебя обманывать: поверь же ты мне, что женитьба блажь. Ну, куда тебе возиться с женою да няньчиться с ребятишками? Эй, плюнь. Послушайся меня: развяжись

ты с капитанскою дочкой. Дорога в Симбирск мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра ж одну к родителям твоим; а сам оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе не за чем. Попадешься опять в руки бунтовщикам, так вряд ли от них еще раз отделаешься. Таким образом любовная дурь пройдет сама собою, и все будет ладно».

Хотя я не совсем был с ним согласен, однако ж чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы. Я решился последовать совету Зурина: отправить Марью Ивановну в деревню и остаться в его отряде.

Савельич явился меня раздевать; я объявил ему, чтоб на другой же день готов он был ехать в дорогу с Марьей Ивановной. Он было заупрямился. «Что ты, сударь? Как же я тебя-то покину? Кто за тобою будет ходить? Что скажут родители твои?»

Зная упрямство дядьки моего, я вознамерился убедить его лаской и искренностию. — Друг ты мой, Архип Савельич! — сказал я ему. — Не откажи, будь мне благодетелем; в прислуге здесь я нуждаться не стану, а не буду спокоен, если Марья Ивановна поедет в дорогу без тебя. Служа ей, служишь ты и мне, потому что я твердо решился, как

скоро обстоятельства дозволят, жениться на ней.

Тут Савельич сплеснул руками с видом изумления неописанного. «Жениться!» — повторил он. — «Дитя хочет жениться! А что скажет батюшка, а матушка-то что подумает?»

— Согласятся, верно согласятся, — отвечал я, — когда узнают Марью Ивановну. Я надеюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебе верят: ты будешь за нас ходатаем, не так ли?

Старик был тронут. «Ох, батюшка ты мой Петр Андреич!» — отвечал он. — «Хоть раненько задумал ты жениться, да зато Марья Ивановна такая добрая барышня, что грех и пропустить оказию. Ин быть по-твоему! Провожу ее, ангела Божия, и рабски буду доносить твоим родителям, что такой невесте не надобно и приданого».

Я благодарил Савельича и лег спать в одной комнате с Зуриным. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался. Зурин сначала со мною разговаривал охотно; но мало-по-малу слова его стали реже и бессвязнее; наконец, вместо ответа на какой-то запрос, он захрапел и присвистнул. Я замолчал и вскоре последовал его примеру.

На другой день утром пришел я к Марье Ивановне. Я сообщил ей свои предположения. Она признала их благоразумие и тотчас со мною со-

гласилась. Отряд Зурина должен был выступить из города в тот же день. Нечего было медлить. Я тут же расстался с Марьей Ивановной, поручив ее Савельичу и дав ей письмо к моим родителям. Марья Ивановна заплакала. «Прощайте, Петр Андреич!» — сказала она тихим голосом. — «Придется ли нам увидаться или нет, Бог один это знает; но век не забуду вас; до могилы ты один останешься в моем сердце». Я ничего не мог отвечать. Люди нас окружали. Я не хотел при них предаваться чувствам, которые меня волновали. Наконец она уехала. Я возвратился к Зурину, грустен и молчалив. Он хотел меня развеселить; я думал себя рассеять: мы провели день шумно и буйно и вечером выступили в поход.

Это было в конце февраля. Зима, затруднявшая военные распоряжения, проходила, и наши генералы готовились к дружному содействию. Пугачев все еще стоял под Оренбургом. Между тем около его отряды соединялись и со всех сторон приближались к злодейскому гнезду. Бунтующие деревни, при виде наших войск, приходили в повиновение; шайки разбойников везде бежали от нас, и все предвещало скорое и благополучное окончание.

Вскоре князь Голицын, под крепостию Та-

тищевой, разбил Пугачева, рассеял его толпы, освободил Оренбург, и, казалось, нанес бунту последний и решительный удар. Зурин был в то время отряжен противу шайки мятежных башкирцев, которые рассеялись прежде нежели мы их увидали. Весна осадила нас в татарской деревушке. Речки разлились, и дороги стали непроходимы. Мы утешались в нашем бездействии мыслию о скором прекращении скучной и мелочной войны с разбойниками и дикарями.

Но Пугачев не был пойман. Он явился на Сибирских заводах, собрал там новые шайки и опять начал злодействовать. Слух о его успехах снова распространился. Мы узнали о разорении Сибирских крепостей. Вскоре весть о взятии Казани и о походе самозванца на Москву встревожила начальников войск, беспечно дремавших в надежде на бессилие презренного бунтовщика. Зурин получил повеление переправиться через Волгу.

Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения разоренные бунтовщиками и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено: помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников

злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно… Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!

Пугачев бежал, преследуемый Иваном Ивановичем Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Зурин получил известие о поимке самозванца, а вместе с тем и повеление остановиться. Война была кончена. Наконец мне можно было ехать к моим родителям! Мысль их обнять, увидеть Марью Ивановну, от которой не имел я никакого известия, одушевляла меня восторгом. Я прыгал как ребенок. Зурин смеялся и говорил, пожимая плечами: «Нет, тебе не сдобровать! Женишься — ни за что пропадешь!»

Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодее, обрызганном кровию стольких невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле: Емеля, Емеля! — думал я с досадою, — зачем не наткнулся ты на штык, или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать. Что прикажете делать? Мысль о нем неразлучна была во мне с мыслию о пощаде, данной мне им в одну из

ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина.

Зурин дал мне отпуск. Через несколько дней должен я был опять очутиться посреди моего семейства, увидеть опять мою Марью Ивановну… Вдруг неожиданная гроза меня поразила.

В день, назначенный для выезда, в самую ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу, с видом чрезвычайно озабоченным. Что-то кольнуло меня в сердце. Я испугался, сам не зная чего. Он выслал моего деньщика, и объявил, что имеет до меня дело. — Что такое? — спросил я с беспокойством. — «Маленькая неприятность», — отвечал он, подавая мне бумагу. — «Прочитай, что́ сейчас я получил». Я стал ее читать: это был секретный приказ ко всем отдельным начальникам арестовать меня, где бы ни попался, и немедленно отправить под караулом в Казань в Следственную Комиссию, учрежденную по делу Пугачева.

Бумага чуть не выпала из моих рук. «Делать нечего!» — сказал Зурин. — «Долг мой повиноваться приказу. Вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачевым как-нибудь да дошел до правительства. Надеюсь, что дело не

будет иметь никаких последствий и что ты оправдаешься перед комиссией. Не унывай и отправляйся». Совесть моя была чиста; я суда не боялся; но мысль отсрочить минуту сладкого свидания, может быть, на несколько еще месяцев — устрашала меня. Тележка была готова. Зурин дружески со мною простился. Меня посадили в тележку. Со мною сели два гусара с саблями наголо́, и я поехал по большой дороге.

Глава XIV.

Суд.
Мирская молва —
Морская волна.
Пословица.

Я был уверен, что виною всему было самовольное мое отсутствие из Оренбурга. Я легко мог оправдаться: наездничество не только никогда не было запрещено, но еще всеми силами было ободряемо. Я мог быть обвинен в излишней запальчивости, а не в ослушании. Но приятельские сношения мои с Пугачевым могли быть доказаны множеством свидетелей и должны были казаться по крайней мере весьма подозрительными. Во всю дорогу размышлял я о допросах, меня ожидающих, обдумывал свои ответы, и решился перед судом объявить сущую правду, полагая сей способ оправдания самым простым, а вместе и самым надежным.

Я приехал в Казань, опустошенную и погорелую. По улицам, наместо домов, лежали груды углей и торчали закоптелые стены без крыш и окон. Таков был след, оставленный Пугачевым! Меня привезли в крепость, уцелевшую посереди сгоревшего города. Гусары сдали меня караульному офицеру. Он велел кликнуть кузнеца. Надели

мне на ноги цепь и заковали ее наглухо. Потом отвели меня в тюрьму и оставили одного в тесной и темной канурке, с одними голыми стенами и с окошечком, загороженным железною решеткою.

Таковое начало не предвещало мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, излиянной из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мною будет.

На другой день тюремный сторож меня разбудил, с объявлением, что меня требуют в комиссию. Два солдата повели меня через двор в комендантской дом, остановились в передней и впустили одного во внутренние комнаты.

Я вошел в залу довольно обширную. За столом, покрытым бумагами, сидели два человека: пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан, лет двадцати осьми, очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. У окошка за особым столом сидел секретарь с пером за ухом, наклонясь над бумагою, готовый записывать мои показания. Начался допрос. Меня спросили о моем имени и звании. Генерал осведомился, не сын ли я Андрея Петровича Гринева? И на ответ мой возразил су-

рово: «Жаль, что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына!» Я спокойно отвечал, что каковы бы ни были обвинения, тяготеющие на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным объяснением истины. Уверенность моя ему не понравилась. «Ты, брат, востер», — сказал он мне нахмурясь; — «но видали мы и не таких!»

Тогда молодой человек спросил меня: по какому случаю и в какое время вошел я в службу к Пугачеву и по каким поручениям был я им употреблен?

Я отвечал с негодованием, что я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву вступать и никаких поручений от него принять не мог.

«Каким же образом», возразил мой допросчик, «дворянин и офицер один пощажен самозванцем, между тем как все его товарищи злодейски умерщвлены? Каким образом этот самый офицер и дворянин дружески пирует с бунтовщиками, принимает от главного злодея подарки, шубу, лошадь и полтину денег? Отчего произошла такая странная дружба и на чем она основана, если не на измене, или по крайней мере на гнусном и преступном малодушии?»

Я был глубоко оскорблен словами гвардейского офицера, и с жаром начал свое оправдание. Я рас-

сказал, как началось мое знакомство с Пугачевым в степи, во время бурана; как при взятии Белогорской крепости он меня узнал и пощадил. Я сказал, что тулуп и лошадь, правда, не посовестился я принять от самозванца; но что Белогорскую крепость защищал я противу злодея до последней крайности. Наконец я сослался и на моего генерала, который мог засвидетельствовать мое усердие во время бедственной оренбургской осады.

Строгий старик взял со стола открытое письмо и стал читать его вслух:

«На запрос вашего превосходительства касательно прапорщика Гринева, якобы замешанного в нынешнем смятении, и вошедшего в сношения с злодеем, службою недозволенные и долгу присяги противные, объяснить имею честь: оный прапорщик Гринев находился на службе в Оренбурге от начала октября прошлого 1773 года до 24 февраля нынешнего года, в которое число он из города отлучился, и с той поры уже в команду мою не являлся. А слышно от перебежчиков, что он был у Пугачева в слободе и с ним вместе ездил в Белогорскую крепость, в коей прежде находился он на службе; что касается до его поведения, то я могу…» Тут он прервал свое чтение, и сказал мне сурово: «Что ты теперь скажешь себе

в оправдание?»

Я хотел было продолжать, как начал, и объяснить мою связь с Марьей Ивановной так же искренно, как и все прочее. Но вдруг почувствовал непреодолимое отвращение. Мне пришло в голову, что если назову ее, то комиссия потребует ее к ответу; и мысль впутать имя ее между гнусными изветами злодеев и ее самую привести на очную с ними ставку — эта ужасная мысль так меня поразила, что я замялся и спутался.

Судьи мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с некоторою благосклонностию, были снова предубеждены противу меня при виде моего смущения. Гвардейский офицер потребовал, чтоб меня поставили на очную ставку с главным доносителем. Генерал велел кликнуть *вчерашнего злодея*. Я с живостию обратился к дверям, ожидая появления своего обвинителя. Через несколько минут загремели цепи, двери отворились, и вошел — Швабрин. Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно черные как смоль, совершенно поседели; длинная борода была всклокочена. Он повторил обвинения свои слабым, но смелым голосом. По его словам, я отряжен был от Пугачева в Оренбург шпионом; ежедневно выезжал на

перестрелки, дабы передавать письменные известия о всем, что делалось в городе; что наконец явно передался самозванцу, разъезжал с ним из крепости в крепость, стараясь всячески губить своих товарищей-изменников, дабы занимать их места и пользоваться наградами, раздаваемыми от самозванца. — Я выслушал его молча и был доволен одним: имя Марьи Ивановны не было произнесено гнусным злодеем, оттого ли, что самолюбие его страдало при мысли о той, которая отвергла его с презрением; оттого ли, что в сердце его таилась искра того же чувства, которое и меня заставляло молчать, — как бы то ни было, имя дочери Белогорского коменданта не было произнесено в присутствии комиссии. Я утвердился еще более в моем намерении, и когда судьи спросили: чем могу опровергнуть показания Швабрина, я отвечал, что держусь первого своего объяснения и ничего другого в оправдание себе сказать не могу. Генерал велел нас вывести. Мы вышли вместе. Я спокойно взглянул на Швабрина, но не сказал ему ни слова. Он усмехнулся злобной усмешкою и, приподняв свои цепи, опередил меня и ускорил свои шаги. Меня опять отвели в тюрьму и с тех пор уже к допросу не требовали.

Я не был свидетелем всему, о чем остается мне уведомить читателя; но я так часто слыхал о том рассказы, что малейшие подробности врезались в мою память и что мне кажется, будто бы я тут же невидимо присутствовал.

Марья Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать Божию в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Вскоре они к ней искренно привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшке пустою блажью; а матушка только того и желала, чтоб ее Петруша женился на милой капитанской дочке.

Слух о моем аресте поразил все мое семейство. Марья Ивановна так просто рассказала моим родителям о странном знакомстве моем с Пугачевым, что оно не только не беспокоило их, но еще заставляло часто смеяться от чистого сердца. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном бунте, коего цель была ниспровержение престола и истребление дворянского рода. Он строго допросил Савельича. Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева, и что-де злодей его таки жаловал; но

клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал. Старики успокоились и с нетерпением стали ждать благоприятных вестей. Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо в высшей степени была одарена скромностию и осторожностию.

Прошло несколько недель… Вдруг батюшка получает из Петербурга письмо от нашего родственника князя Б**. Князь писал ему обо мне. После обыкновенного приступа, он объявлял ему, что подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков, к несчастию, оказались слишком основательными, что примерная казнь должна была бы меня постигнуть, но что государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, решилась помиловать преступного сына и, избавляя его от позорной казни, повелела только сослать в отдаленный край Сибири на вечное поселение.

Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей твердости, и горесть его (обыкновенно немая) изливалась в горьких жалобах. «Как!» — повторял он, выходя из себя. — «Сын мой участвовал в замыслах Пугачева! Боже праведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его от казни! От этого

разве мне легче? Не казнь страшна; пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести; отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым. Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..» Испуганная его отчаянием матушка не смела при нем плакать и старалась возвратить ему бодрость, говоря о неверности молвы, о шаткости людского мнения. Отец мой был неутешен.

Марья Ивановна мучилась более всех. Будучи уверена, что я мог оправдаться, когда бы только захотел, она догадывалась об истине и почитала себя виновницею моего несчастия. Она скрывала от всех свои слезы и страдания, и между тем непрестанно думала о средствах, как бы меня спасти.

Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевертывая листы Придворного Календаря; но мысли его были далеко, и чтение не производило над ним обыкновенного своего действия. Он насвистывал старинный марш. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку и слезы изредка капали на ее работу. Вдруг Марья Ивановна, тут же сидевшая за работой, объявила, что необхо-

димость ее заставляет ехать в Петербург, и что она просит дать ей способ отправиться. Матушка очень огорчилась. «Зачем тебе в Петербург?» — сказала она. — «Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты нас покинуть?» Марья Ивановна отвечала, что вся будущая судьба ее зависит от этого путешествия, что она едет искать покровительства и помощи у сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность.

Отец мой потупил голову: всякое слово, напоминающее мнимое преступление сына, было ему тягостно и казалось колким упреком. «Поезжай, матушка!» — сказал он ей со вздохом. — «Мы твоему счастию помехи сделать не хотим. Дай Бог тебе в женихи доброго человека, не ошельмованного изменника». Он встал и вышел из комнаты.

Марья Ивановна, оставшись наедине с матушкою, отчасти объяснила ей свои предположения. Матушка со слезами обняла ее и молила Бога о благополучном конце замышленного дела. Марью Ивановну снарядили, и через несколько дней она отправилась в дорогу с верной Палашей и с верным Савельичем, который, насильственно разлученный со мною, утешался по крайней мере мыслию, что служит нареченной моей невесте.

Марья Ивановна благополучно прибыла в

Софию и, узнав на почтовом дворе, что Двор находился в то время в Царском Селе, решилась тут остановиться. Ей отвели уголок за перегородкой. Жена смотрителя тотчас с нею разговорилась, объявила, что она племянница придворного истопника, и посвятила ее во все таинства придворной жизни. Она рассказала, в котором часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофей, прогуливалась; какие вельможи находились в то время при ней; что изволила она вчерашний день говорить у себя за столом, кого принимала вечером, — словом, разговор Анны Власьевны стоил нескольких страниц исторических записок и был бы драгоценен для потомства. Марья Ивановна слушала ее со вниманием. Они пошли в сад. Анна Власьевна рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика, и, нагулявшись, они возвратились на станцию очень довольные друг другом.

На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около

прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос: «Не бойтесь, она не укусит». И Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке противу памятника. Марья Ивановна села на другом конце скамейки. Дама пристально на нее смотрела; а Марья Ивановна, со своей стороны бросив несколько косвенных взглядов, успела рассмотреть ее с ног до головы. Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая перервала молчание.

«Вы верно не здешние?» — сказала она.

— Точно так-с: я вчера только приехала из провинции.

«Вы приехали с вашими родными?»

— Никак нет-с. Я приехала одна.

«Одна! Но вы так еще молоды».

— У меня нет ни отца, ни матери.

«Вы здесь конечно по каким-нибудь делам?»

— Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне.

«Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?»

— Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия.

«Позвольте спросить, кто вы таковы?»

— Я дочь капитана Миронова.

«Капитана Миронова! того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей?»

— Точно так-с.

Дама, казалось, была тронута. «Извините меня» — сказала она голосом еще более ласковым, — «если я вмешиваюсь в ваши дела; но я бываю при дворе; изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь».

Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать ее про себя.

Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным; но вдруг лицо ее переменилось, — и Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми ее движениями, испугалась строгому вы-

ражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному.

«Вы просите за Гринева?» — сказала дама с холодным видом. — «Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй».

— Ах, неправда! — вскрикнула Марья Ивановна.

«Как неправда!» — возразила дама, вся вспыхнув.

— Неправда, ей Богу, неправда! Я знаю все, я все вам расскажу. Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня. — Тут она с жаром рассказала все, что уже известно моему читателю.

Дама выслушала ее со вниманием. — «Где вы остановились?» — спросила она потом; и услыша, что у Анны Власьевны, примолвила с улыбкою: «А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо».

С этим словом она встала и вошла в крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась к Анне Власьевне, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар, и за чашкою чая только было принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камер-лакей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову.

Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ахти, Господи!» — закричала она. — «Государыня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, я чай, и ступить по придворному не умеете… Не проводить ли мне вас? Все-таки я вас хоть в чем-нибудь да могу предостеречь. И как же вам ехать в дорожном платье? Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым роброном?» — Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала одна, и в том, в чем ее застанут. Делать было нечего: Марья Ивановна села в карету и поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны.

Марья Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы; сердце ее сильно билось и замирало. Чрез несколько минут карета остановилась

у дворца. Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Двери перед нею отворились на́стежь. Она прошла длинный ряд пустых, великолепных комнат; камер-лакей указывал дорогу. Наконец, подошед к запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил ее одну.

Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрашала ее, что она с трудом могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную государыни.

Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали ее, и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково к ней обратилась, и Марья Ивановна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколько минут тому назад. Государыня подозвала ее и сказала с улыбкою: «Я рада, что могла сдержать вам свое слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвезти к будущему свекру».

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакав, упала к ногам императрицы, которая подняла ее и поцаловала. Государыня разговорилась с нею. «Знаю, что вы не богаты» — сказала она; — «но я в долгу перед дочерью

капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние».

Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. Марья Ивановна уехала в той же придворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала оное провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна, не полюбопытствовав взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню…

* * *

Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. — В тридцати верстах от *** находится село, принадлежащее десятерым помещикам. — В одном из барских

флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились, с разрешения родственников, издать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена.

Издатель.

19 окт. 1836.

Приложение

Пропущенная глава[25]

Мы приближались к берегам Волги; полк наш вступил в деревнюю ** и остановился в ней ночевать. Староста объявил мне, что на той стороне все деревни взбунтовались, шайки Пугачевские бродят везде. Это известие меня сильно встревожило. Мы должны были переправиться на другой день утром. Нетерпение овладело мной. Деревня отца моего находилась в 30 верстах по ту сторону реки. Я спросил, не сыщется ли перевозчика. Все крестьяне были рыболовы; лодок было много. Я пришел к Гриневу и объявил ему о своем намерении. — Берегись, сказал он мне. Одному ехать опасно. Дождись утра. Мы переправимся первые, и приведем в гости к твоим родителям 50 чел<овек> гусар<ов> на всякий случай.

Я настоял на своем. Лодка была готова. Я сел в нее с двумя гребцами. — Они отчалили и ударили в весла.

Небо было ясно. Луна сияла. — Погода была тихая — Волга неслась ровно и спокойно. Лодка, плавно качаясь, быстро скользила по темн<ым> волн<ам>. Я погрузился в мечты воображения. Прошло около получаса. — Мы уже достигли середины реки… вдруг гребцы начали шептаться

между собою. — Что такое? спросил я, очнувшись. — Не знаем, Бог весть, отвечали гребцы, смотря в одну сторону. Глаза мои приняли то же направление, и я увидел в сумраке что-то плывшее вниз по Волге. Незнакомый предмет приближался. Я велел гребцам остановиться и дождаться его. Луна зашла за облако. Плывучий призрак сделался еще неяснее. Он был от меня уже близко, и я все еще не мог различить. — Что бы это было, говорили гребцы. Парус не парус, мачты не мачты… — Вдруг луна вышла из-за облака и озарила зрелище ужасное. К нам навстречу плыла висилица, утвержденная на плоту — 3 тела висели на перекладине. Болезненное любопытство овладело мною. — Я захотел взглянуть на лица висельников.

По моему приказанию гребцы зацепили плот багром, лодка моя толкнулась о плывучую висилицу. Я выпрыгнул и очутился между ужасными столбами. — Яркая луна озаряла обезображенные лица несчастных. Один из них был старый чуваш, другой русский крестьянин, сильный и здоровый малый лет 20-ти. Но взглянув на третьего, я сильно был поражен и не мог удержаться от жалобного восклицания: это был Ванька, бедный мой Ванька, по глупости своей приставший к

Пугачеву. Над ними прибита была черная доска, на которой белыми крупными буквами было написано: *Воры и бунтовщики*. Гребцы [смотрели] равнодушно, и ожидали меня, удерживая плот багром. Я сел опять в лодку. Плот поплыл вниз по реке. Висилица долго чернела во мраке. Наконец она исчезла — и лодка моя прича<ли>ла к высокому и крутому берегу…

Я щедро расплатился с гребцами. Один из них повел меня к выборному деревни, находившейся у перевоза. Я вошел с ним вместе в избу. Выборный, услыша, что я требую лошадей, принял было меня довольно грубо, но мой вожатый сказал ему тихо несколько слов, и его суровость тотчас обратилась в торопливую услужливость. В одну минуту тройка была готова, я сел в тележку и велел себя везти в нашу деревню.

Я скакал по большой дороге, мимо спящих деревень. Я боялся одного: быть остановлену на дороге. Если ночная встреча моя на Волге доказывала присутствие бунтовщиков, то она вместе была доказательством и сильного противудействия правительства. — На всякой случай я имел в кармане пропуск, выданный мне Пугачевым, и приказ полковника Гринева. Но никто мне не встретился, и к утру я завидел реку и еловую

рощу, за которой находилась наша деревня. — Ямщик ударил по лошадям, и через четверть часа я въехал в **.

Барский дом находился на другом конце села. Лошади мчались во весь дух. Вдруг посереди улицы — ямщик начал их удерживать. — Что такое, — спросил я с нетерпением. — Застава, барин, — отвечал ямщик, с трудом остановя разъяренных своих коней. В самом деле, я увидел рогатку и караульного с дубиною. Мужик подошел ко мне <и> снял шляпу, спрашивая пашпорту. — Что это значит? спросил я его, зачем здесь рогатка? Кого ты караулишь? — Да мы, батюшка, бунтуем, отвечал он, почесываясь.

— А где ваши господа? спросил я с сердечным замиранием…

— Господа-то наши где? повторил мужик. Господа наши в хлебном анбаре.

— Как в анбаре?

— Да Андрюха, земский, посадил, вишь, их в колодки — и хочет везти к батюшке-государю.

— Боже мой! Отворачивай, дурак, рогатку. Что же ты зеваешь?

Караульный медлил. Я выскочил из телеги, треснул его (виноват) в ухо — и сам отодвинул рогатку. — Мужик мой глядел на меня с глупым

недоумением. Я сел опять в телегу [и] велел скакать к барскому дому. Хлебный анбар находился на дворе. У запертых дверей стояли два мужика так<же> с дубинами. — Телега остановилась прямо перед ними. — Я выскочил и бросился прямо на них. — Отворяйте двери! сказал я им. Вероятно, вид мой был страшен. По крайней мере оба убежали, бросив дубины. Я попытался сбить замок, а двери выломать, но двери были дубовые, а огромный замок несокрушим. В эту минуту статный <?> молодой мужик вышел из людской избы, и с видом надменным спросил меня, как я смею буянить. — Где Андрюшка земский, закричал я ему. — Кликнуть его ко мне.

— Я сам Андрей Афанасьевич, а не Андрюшка, — отвечал он мне, гордо подбочась. Чего надобно?

Вместо ответа я схватил его за ворот и, притащив к дверям анбара, велел их отпирать. Земский было заупрямился, но *отеческое* наказание подействовало и на него. Он вынул ключ и отпер анбар. — Я кинулся через порог и в темном углу, слабо освещенном узким отверстием, прорубленным в потолке, увидел мать и отца. Руки их были связаны — на ноги набиты были колодки. Я бросился их обнимать и не мог выговорить ни слова. Оба смотрел<и> на меня с изумлением,

— 3 года военной жизни так изменили меня, что они не могли меня узнать. Матушка ахнула и залилась слезами.

Вдруг услышал я милый знакомый голос. — Петр Андреич! Это вы! Я остолбенел… оглянулся и вижу в другом углу Марью Ивановну, также связанную.

Отец глядел на меня молча — не смея верить самому себе. Радость блистала на лице его. Я спешил саблею разрезать узлы их веревок.

— Здравствуй, здравствуй, Петруша, говорил отец мне, прижимая меня к сердцу, слава Богу, дождались тебя…

— Петруша, друг мой, [говорила] матушка. Как тебя Господь привел! Здоров ли ты?

Я спешил их вывести из заключения, — но подошед к двери, я нашел ее снова запертою. — Андрюшка, закричал я, отопри! —Как не так, отвечал из-за двери земский. Сиди-ка сам здесь. Вот ужо научим тебя буянить, да за ворот таскать государевых чиновников!

Я стал осматривать анбар, ища, не было ли какого-нибудь способа выбраться.

— Не трудись, сказал мне батюшка, не таковский я хозяин, чтоб можно было в анбары мои входить и выходить воровскими лазейками.

Матушка, на минуту обрадованная моим появлением, впала в отчаяние, видя, что пришлось и мне разделить погибель всей семьи. Но я был спокойнее с тех пор, как находился с ними и с Марьей Ивановной. Со мною была сабля и два пистолета — я мог еще выдержать осаду. — Гринев должен был подоспеть к вечеру и нас освободить. Я сообщил все это моим родителям и успел успокоить матушку. Они предались вполне радости свидания.

— Ну, Петр, сказал мне отец, довольно ты проказил, и я на тебя порядком был сердит. Но нечего поминать про старое. Надеюсь, что теперь ты исправился, и перебесился. Знаю, что ты служил, как надлежит честному офицеру. Спасибо. Утешил меня, старика. Коли тебе обязан я буду избавлением, то жизнь мне вдвое будет приятнее.

Я со слезами целовал его руку и глядел на Марью Ивановну, которая была так обрадована моим присутствием, что казалась совершенно счастлива и спокойна.

Около полудни услышали мы необычайный шум и крики. — Что это значит, сказал отец, уж не твой ли полковник подоспел? — Невозможно, отвечал я. Он не будет прежде вечера. Шум умножался. Били в набат. По двору скакали конные

люди; в эту минуту в узкое отверстие, прорубленное в стене, просунулась седая голова Савельича, и мой бедный дядька произнес жалостным голосом: — Андрей Петрович, Авдотья Васильевна, батюшка ты мой, Петр Андреич, матушка Марья Ивановна, беда! злодеи вошли в село. И знаешь ли, Петр Андреич, кто их привел? Швабрин, Алексей Иваныч, нелегкое его побери! — Услыша ненавистное имя, Марья Ивановна всплеснула руками и осталась неподвижною.

— Послушай, — сказал я Савельичу, — пошли кого-нибудь верьхом к * перевозу, навстречу гусарскому полку; и вели дать знать полковнику об нашей опасности. — Да кого же послать, сударь! Все мальчишки бунтуют — а лошади все захвачены! Ахти! Вот уж на дворе — до анбара добираются. —

В это время за дверью раздалось несколько голосов. Я молча дал знак матушке и Марье Ивановне удалиться в угол, обнажил саблю и прислонился к стене у са<мой> двери. Батюшка взял пистолеты и на обоих взвел кур<ки>, и стал подле меня. Загремел замок, дверь отворилась и голова земского показалась. — Я ударил по ней саблею и он упал, заградив вход. В ту же минуту батюшка выстрелил в дверь из пистолета. Тол-

па, осаждавшая нас, отбежала с проклятиями. Я перетащил через порог раненого и запер дверь внутреннею петлею. Двор был полон вооруженных людей. — Между ими узнал я Швабрина.

— Не бойтесь, — сказал я женщинам. — Есть надежда. А вы, батюшка, уж более не стреляйте. Побережем последний заряд. —

Матушка молча молилась Богу — Марья Ивановна стояла подле нее, с ангельским спокойствием ожидая решения судьбы нашей. За дверьми раздавались угрозы, брань и проклятия. Я стоял на своем месте, готовясь изрубить первого смельчака. Вдруг злодеи замолчали. Я услышал голос Швабрина, зовущего меня по имени.

— Я здесь, чего ты хочешь?

— Сдайся, Буланин, противиться напрасно. Пожалей своих стариков. Упрямством себя не спасешь. Я до вас доберусь!

— Попробуй, изменник!

— Не стану ни сам соваться попустому, ни своих людей тратить. А велю поджечь анбар и тогда посмотрим, что ты станешь делать, Дон-Кишот белогорский. Теперь время обедать. Покаместь сиди, да думай на досуге. До свидания, Марья Ивановна не извиняюсь перед вами: вам, вероятно, не скучно в потемках с вашим рыцарем.

Швабрин удалился, и остав<ил> караул у анбара. Мы молчали. Каждый из нас думал про себя, не смея сообщить другому своих мыслей. — Я воображал себе все, что в состоянии был учинить озлобленный Швабрин. О себе я почти не заботился. Признаться ли? И участь родителей моих не столько ужасала меня, как судьба Марьи Ивановны. Я знал, что матушка была обожаема крестьянами и дворовыми людьми, ба<тюшка>, несмотря на свою строгость, был также любим, ибо был справедлив и знал истинные нужды подвластных ему людей. Бунт их был заблуждение, мгновенное пьянство, а не изъявление их негодования. Тут пощада была вероятна. Но Марья Ивановна? Какую участь готовил ей развратный и бессовестный человек! Я не смел остановить<ся> на этой ужасной мысли и готовился, прости Господи, скорее умертвить ее, нежели вторично увидеть в руках жестокого недруга.

Прошло еще около часа. В деревне раздавались песни пьяных. Караульные наши им завидовали и, досадуя на нас, ругались и стращали нас истязаниями и смертью. — Мы ожидали последствия угрозам Швабрина. Наконец сделалось большое движение на дворе, и мы опять услышали голос

Швабрина.

— Что, надумались ли вы? Отдаетесь ли добровольно в мои руки?

Никто ему не отвечал. Подождав немного, Швабрин велел принести соломы. — Через несколько минут вспыхнул огонь, и осветил темный анбар — и дым начал пробиваться из-под щелей порога. Тогда Марья Ивановна подошла ко мне и тихо, взяв меня за руку, сказала: — Полно, Петр Андреич! Не губите за меня и себя и родителей. Выпустите меня. Швабрин меня послушает.

— Ни за что, — закричал я с сердцем. — Знаете ли вы, что вас ожидает?

— Бесчестия я не переживу, — отвечала она спокойно. — Но, может быть, я спасу моего избавителя и семью, которая так великодушно призрела мое бедное сиротство. Прощайте, Андрей Петрович. Прощайте, <Авдотья Васильевна>. Вы были для меня более, чем благодетели. Благословите меня. Простите же и вы, Петр Андреич. Будьте уверены, что… что… — тут она заплакала… и закрыла лицо руками… Я был как сумасшедший. Матушка плакала.

— Полно врать, Марья Ивановна, — сказал мой отец. — Кто тебя пустит одну к разбойникам! Сиди здесь, и молчи. Умирать, так умирать уж вместе.

— Слушай — что там еще говорят?

— Сдаетесь ли? кричал Швабрин. Видите? через пять минут вас изжарят.

— Не сдадимся, злодей! отвечал ему батюшка твердым голосом.

Лицо его, покрытое морщинами, оживлено было удивительною бодростию, глаза грозно сверкали из-под седых бровей. — И обратись ко мне сказал: «Теперь пора!»

Он отпер двери. Огонь ворвался и взвился по бревнам, законопаченным сухим мохом. Батюшка выстрелил из пистолета и шагнул за пылающий порог, закричав: «Все за мною». — [Я схватил] за руку матушку <и> Марью Ивановну и быстро вывел их на воздух. У порога лежал Швабрин, простреленный дряхлою рукою отца моего; толпа разбойников, бежавшая от неожиданной нашей вылазки, тотчас ободрилась и начала нас окружать. Я успел нанести еще несколько ударов, но кирпич, удачно брошенный, угодил мне прямо в грудь. Я упал и на минуту лишился чувств. Пришед в себя, увидел я Швабрина, сидевшего на окровавленной траве, и перед ним все наше семейство. Меня поддерживали под руки. — Толпа крестьян, казаков и башкирцев окружала нас. Швабрин был ужасно бледен. Одной рукой

прижимал он раненый бок. Лицо его изображало мучение и злобу. Он медленно поднял голову, взглянул на меня и произнес слабым и невнятным голосом:

— Вешать его… и всех… кроме ее…

Тотчас толпа злодеев окружила нас и с криком потащила к воротам. Но вдруг они нас оставили и разбежались; в ворота въехал Гринев, — и за ним целый эскадрон с саблями наголо.

* * *

Бунтовщики утекали во все стороны; гусары их преследовали, рубили и хватали в плен. Гринев соскочил с лошади, [поклонился] батюшке и матушке и крепко пожал мне руку. «Кстати же я подоспел, — сказал он нам. — А! вот и твоя невеста». Марья Ивановна покраснела по уши. Батюшка к нему подошел и благодарил его с видом спокойным, хотя и тронутым. Матушка обнимала его, называя ангелом избавителем. «Милости просим к нам», — сказал ему батюшка и повел его к нам в дом.

Проходя мимо Швабрина, Гринев остановился. «Это кто?» — спросил он, глядя на раненого. «Это сам предводитель, начальник шайки, — отвечал мой отец с некоторой гордостью, обличающей старого воина, — Бог помог дряхлой руке моей

наказать молодого злодея и отомстить ему за кровь моего сына».

— Это Швабрин, — сказал я Гриневу.

— Швабрин! Очень рад. Гусары! возьмите его! Да сказать нашему лекарю, чтоб он перевязал ему рану и берег его как зеницу ока. Швабрина надобно непременно представить в секретную Казанскую комиссию. Он один из главных преступников, и показания его должны быть важны.

Швабрин открыл томный взгляд. На лице его ничего не изображалось, кроме физической муки. Гусары отнесли его на плаще.

Мы вошли в комнаты. С трепетом смотрел я вокруг себя, припоминая свои младенческие годы. Ничто в доме не изменилось, все было на прежнем месте. Швабрин не дозволил его разграбить, сохраняя в самом своем унижении невольное отвращение от бесчестного корыстолюбия. Слуги явились в переднюю. Они не участвовали в бунте и от чистого сердца радовались нашему избавлению. Савельич торжествовал. Надобно знать, что во время тревоги, произведенной нападением разбойников, он побежал в конюшню, где стояла Швабрина лошадь, оседлал ее, вывел тихонько и, благодаря суматохе, незаметным образом поска-

кал к перевозу. Он встретил полк, отдыхавший уже по сю сторону Волги. Гринев, узнав от него об нашей опасности, велел садиться, скомандовал марш, марш в галоп — и, слава Богу, прискакал вовремя.

Гринев настоял на том, чтобы голова земского была на несколько часов выставлена на шесте у кабака.

Гусары возвратились с погони, захвати в плен несколько человек. Их заперли в тот самый анбар, в котором выдержали мы достопамятную осаду.

Мы разошлись каждый по своим комнатам. Старикам нужен был отдых. Не спавши целую ночь, я бросился на постель и крепко заснул. Гринев пошел делать свои распоряжения.

Вечером мы соединились в гостиной около самовара, весело разговаривая о минувшей опасности. Марья Ивановна разливала чай, я сел подле нее и занялся ею исключительно. Родители мои, казалось, благосклонно смотрели на нежность наших отношений. Доселе этот вечер живет в моем воспоминании. Я был счастлив, счастлив совершенно — а много ли таковых минут в бедной жизни человеческой?

На другой день доложили батюшке, что крестьяне явились на барский двор с повинною.

Батюшка вышел к ним на крыльцо. При его появлении мужики стали на колени.

— Ну что, дураки, — сказал он им, — зачем вы вздумали бунтовать?

— Виноваты, государь ты наш, — отвечали они в голос.

— То-то, виноваты. Напроказят, да и сами не рады. Прощаю вас для радости, что Бог привел мне свидеться с сыном Петром Андреичем. Ну, добро: повинную голову меч не сечет. Виноваты! Конечно, виноваты. Бог дал вёдро, пора бы сено убрать: а вы, дурачье, целые три дня что делали? Староста! Нарядить поголовно на сенокос: да смотри, рыжая бестия, чтоб у меня к Ильину дню все сено было в копнах. Убирайтесь.

Мужики поклонились и пошли на барщину как ни в чем не бывало.

Рана Швабрина оказалась не смертельна. Его с конвоем отправили в Казань. Я видел из окна, как его уложили в телегу. Взоры наши встретились, он потупил голову, а я поспешно отошел от окна. Я боялся показывать вид, что торжествую над несчастием и унижением недруга.

Гринев должен был отправиться далее. Я решился за ним последовать, несмотря на мое желание пробыть еще несколько дней посреди

моего семейства. Накануне похода я пришел к моим родителям, и по тогдашнему обыкновению поклонился им в ноги, прося их благословения на брак с Марьей Ивановной. Старики меня подняли и в радостных слезах изъявили свое согласие. Я привел к ним Марью Ивановну бледную и трепещущую. — Нас благословили… Что чувствовал я, того не стану описывать. Кто бывал в моем положении, тот и без того меня поймет, — кто не бывал, о том только могу пожалеть и советовать пока еще время не ушло, влюбиться и получить от родителей благословение.

На другой день полк собрался, Гринев распростился с нашим семейством. Все мы были уверены, что военные действия скоро будут прекращены; через месяц я надеялся быть супругом. Марья Ивановна, прощаясь со мною, поцаловала меня при всех. — Я сел верьхом. Савельич опять за мною последовал — и полк ушел.

Долго смотрел я издали на сельский дом, опять мною покидаемый. Мрачное предчувствие тревожило меня. Кто-то мне шептал, что не все несчастия для меня миновались. Сердце чуло новую бурю.

Не стану описывать нашего похода — и окончания Пугачевской войны. Мы проходили через

селения, разоренные Пугачевым, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что оставлено было им разбойниками.

Они не знали, кому повиноваться. Правление было всюду прекращено. Помещики укрывались по лесам. — Шайки разбойников злодействовали повсюду. Начальники отдельных отрядов, посланных в погоню за Пугачевым, тогда уже бегущим к Астрахани, самовластно наказывали виноватых и безвинных. — — Состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи Бог видеть русский бунт — бес<с>мысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка.

Пугачев бежал, преследуемый Ив. Ив. Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. — Наконец Гринев получил от своего генерала известие о поимке самозванца, а вместе и повеление остановиться. Наконец мне можно было ехать домой. Я был в восторге; но странное чувство омрачало мою радость.



Все книги «Альпины»
Художественные книги «Альпины»



Полка наPROтив
t.me/polkanaprotiv



Вы автор?

Готовы поделиться своим опытом и экспертизой

Мы поможем вам написать книгу с нуля или отредактировать рукопись

Профессионально издадим и будем сопровождать на всех этапах работы

Альпина PRO — входит в издательскую группу «Альпина». Наше издательство стремится распространять знания, помогающие человеку развиваться и менять мир к лучшему.

Взяв лучшее из традиционного издательского

процесса и привнеся в него современные технологии, издательство Альпина PRO более 10 лет специализируется на издании бизнес-литературы. Помогает авторам и компаниям делиться опытом, обучать сотрудников и развивать индустрию.

Используя бутиковый подход к созданию авторского контента в формате 360 градусов, издательство издает и продвигает книги, написанные профессионалами для профессионалов.



Контакты: +7 (931) 009-41-95
Почта: marketingpro@alpina.ru

Примечания

1. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1949. Т. 13. С. 239.

2. Там же. Т. 11. С. 66.

3. Левин Ю. Д. Шекспир // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 18/19: Пушкин и мировая литература: Материалы к «Пушкинской энциклопедии». — СПб.: Наука, 2004. С. 377.

4. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 11. С. 178.

5. Там же. С. 66–67.

6. Винокур Г. О. Язык «Бориса Годунова» // Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. — М.: Учпедгиз, 1959. С. 305–308.

7. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 13. С. 266.

8. Там же. Т. 7. С. 36, 293.

9. Сумароков А. П. Избранные произведения. — Л.: Сов. писатель, 1957. С. 427, 470.

10. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 11. С. 140.

11. Там же. Т. 14. С. 46. Оригинал по-французски.

12. Винокур Г. О. «Борис Годунов»: Комментарий // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 7: Драматические

произведения. — Л.: Изд-во АН СССР, 1935. С. 476; Винокур Г. О. Язык «Бориса Годунова». С. 313–317.

13. Сиповский В. В. Пушкин и Рылеев // Пушкин и его современники. Вып. III. — СПб., 1905. С. 86–88.

14. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 13. С. 184.

15. Томашевский Б. В. Пушкин и итальянская опера // Пушкин и его современники. Вып. XXXI–XXXII. — Л., 1927. С. 51–58.

16. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 14. С. 82.

17. Томашевский Б. В. «Борис Годунов» // Путеводитель по Пушкину. — М.; Л.: ГИХЛ, 1931. С. 66.

18. Фомичев С. А. «Комедия о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве» А. С. Пушкина // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. XLVIII. — СПб.: Дмитрий Буланин, 1993. С. 421–428.

19. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 20 т. Т. 7: Драматические произведения. — СПб.: Наука, 2009. С. 7–90.

20. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953–1959. Т. 1. С. 18.

21. Пушкин в прижизненной критике. Т. II: 1828–1830. — СПб.: Государственный Пушкинский

театральный центр в Санкт-Петербурге, 2001. С. 31.
22. Там же. С. 35.
23. Там же. С. 437, 264.
24. Пушкин в прижизненной критике. Т. III. 1831–1833. — СПб.: Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге, 2003. С. 320.
25. Там же. С. 216.
26. Там же. С. 221.
27. Там же. С. 223.
28. Там же. С. 128–130.
29. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 14. С. 142.
30. Пушкин в прижизненной критике. Т. III: 1831–1833. С. 43.
31. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. Т. VII. С. 506.
32. Там же. С. 526.
33. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. Т. VII. С. 530.
34. Там же.
35. Там же. С. 527.
36. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 13. С. 154.
37. Серман И. З. Пушкин и русская историческая

драма 1830-х годов // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 6: Реализм Пушкина и литература его времени. — Л.: Наука, 1969. С. 129–140.

38. Там же. С. 129.

39. Винокур Г. О. «Борис Годунов»: Комментарий. С. 500.

40. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 13. С. 307.

41. Винокур Г. О. «Борис Годунов»: Комментарий. С. 412–413.

42. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 12. С. 313.

43. Там же. Т. 13. С. 317.

44. Жирмунский В. М. Пушкин и западные литературы // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии, 3. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. С. 81.

45. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 12. С. 159–160.

46. Там же. Т. 11. С. 67.

47. Там же. С. 178.

48. Винокур Г. О. Язык «Бориса Годунова». С. 303–304.

49. Левин Ю. Д. Некоторые вопросы шекспиризма Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 7: Пушкин и мировая литература. — Л.: Наука, 1974. С. 59–70.

50. Винокур Г. О. «Борис Годунов»: Комментарий. С. 481.

51. Пушкин в прижизненной критике. Т. III: 1831–1833. С. 304.

52. Винокур Г. О. «Борис Годунов»: Комментарий. С. 459; цитата уточнена по первой публикации.

53. Дурылин С. Н. Пушкин на сцене. — М.: Изд-во АН СССР, 1951. С. 76–90; Гозенпуд А. А. О сценичности и театральной судьбе «Бориса Годунова» // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 5. — Л.: Наука, 1967. С. 346–351.

54. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 13. С. 211.

55. Фомичев С. А. Указ. соч. С. 421–422.

56. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 11. С. 120.

57. Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. 3. — М.: Книга, 1988. (Репринтное воспроизведение издания 1842–1844 годов.) С. 78–79.

58. Винокур Г. О. «Борис Годунов»: Комментарий. С. 471.

59. Скрынников Р. Г. Борис Годунов. — М.: Наука, 1979. С. 67–84.

60. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений:

В 16 т. Т. 14. С. 48.

61. Винокур Г. О. «Борис Годунов»: Комментарий. С. 464.

62. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 7. С. 14.

63. Карамзин Н. М. Указ. соч. С. 73, прим. 397.

64. Винокур Г. О. «Борис Годунов»: Комментарий. С. 466.

65. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 7. С. 39.

66. Там же. С. 45.

67. Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. — М.: Гослитиздат, 1957. С. 40.

68. Там же.

69. Там же. С. 38–52.

70. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 14. С. 142.

71. Там же. Т. 11. С. 127.

72. Там же. Т. 7. С. 85.

73. Пословицы русского народа / Сб. пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и проч. В. Даля. — М.: В университетской типографии, 1862. С. 427.

74. Даль В. И. Словарь живого великорусского языка. Ч. IV. — М.: Общ-во любителей рос. словесности, учр. при Имп. Моск. ун-те, 1866. С. 426.

75. Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX века / Сост. и прим. Е. Курганова и Н. Охотина. — М.: Худ. лит., 1990. С. 66.

76. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 7. С. 302.

77. Карамзин Н. М. Там же. С. 116.

78. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 7. С. 98.

79. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. Т. 7. С. 534.

80. Алексеев М. П. Ремарка Пушкина «Народ безмолвствует» // Русская литература. 1967. № 2. С. 39–40.

81. Винокур Г. О. «Борис Годунов»: Комментарий. С. 476.

82. Алексеев М. П. Указ. соч. С. 55–58.

Источники иллюстраций

{1} Александр Пушкин. Гравюра Василия Матэ. 1899 год. Из открытых источников.

{2} Неизвестный художник. Царь Борис Федорович Годунов. XVIII век. Государственный Исторический музей.

{3} Федор Шаляпин в роли Бориса Годунова. Метрополитен-опера, 1921 год. Из открытых источников.

{4} Первая подробная карта Московского Кремля, 1663 год. The Jewish National and University Library / The Hebrew University of Jerusalem.

{5} Лжедмитрий
I. Из сборника «Thesaurus picturarum». 1564–1606 годы. Hessischen Landesmuseum Darmstadt.

{6} Павел Соколов. Иллюстрация к «Капитанской дочке». 1891 год. Гравёр Альфонс Ламот. Российская государственная библиотека.

{7} Неизвестный художник. Портрет Емельяна Пугачёва. Вторая половина XVIII века. Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль». Фотография Сергея Прокудина-Горского. 1911 год. Library of Congress.

{8} Иван Миодушевский. Вручение письма Екатерине II, на сюжет повести «Капитанская дочка». Фрагмент. 1861 год. Государственная Тре-

тьяковская галерея.

{9} Неизвестный художник. Портрет великого князя Петра Фёдоровича. Конец 1750-х годов. Автор оригинала Фёдор Рокотов. Государственный Эрмитаж.

{10} Перспектива города Оренбурга, выполненная инженером-капитаном Александром Ригельманом в 1760 году. Российский государственный военно-исторический архив.

[1] Необходимое условие (*лат.*).

[2] Александр Христофорович Бенкендорф (1782–1844) — государственный деятель и военачальник. Был флигель-адъютантом при императоре Александре I во время Отечественной войны 1812 года, участвовал в заграничных походах 1813–1814 годов. В 1826 году Николай I назначил Бенкендорфа шефом жандармов и начальником новообразованного III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии.

[3] Проправительственная газета, издававшаяся в Петербурге с 1825 по 1864 год. Основана Фаддеем Булгариным. Поначалу газета придерживалась демократических взглядов (в ней печатались произведения Александра Пушкина и Кондратия Рылеева), но после восстания декабристов резко изменила политический курс: вела борьбу с прогрессивными журналами вроде «Современника» и «Отечественных записок», публиковала доносы. Почти во всех разделах газеты писал сам Булгарин. В 1860-е новый издатель «Северной пчелы» Павел Усов пытался сделать газету более либеральной, но вынужден был закрыть издание из-за малого количества

подписчиков.

[4] Братья Шлегели — Август Вильгельм Шлегель (1767–1845) и Фридрих Шлегель (1772–1829) — немецкие поэты и литературоведы. Были участниками йенского кружка романтиков и главными теоретиками немецкого романтизма, выпускали журнал Athenaeum.

[5] Иван Никитич Инзов (1768–1845) — военачальник. Участвовал в Итальянском походе Суворова, Отечественной войне 1812 года и заграничных походах русской армии 1813–1814 годов. Был попечителем иностранных колонистов в Южной России, в 1821 году основал для болгарских беженцев город Болград. Под начальством Инзова находился Пушкин во время южной ссылки, на частые запросы властей о поведении ссыльного Инзов отправлял наилучшие отзывы. Кстати, инзовская сорока — реальная ручная птица. Пушкин обучил ее выкрикивать непристойности, после чего Инзов вынужден был прятать ее от гостей.

[6] «Сочинения Александра Пушкина» — цикл Белинского из 11 статей, которые публиковались в журнале «Отечественные записки» с 1843 по 1846 год. Первые три статьи цикла Белинский по-

святил развитию русской литературы, четвертую и пятую — творческому методу Пушкина, шестую и седьмую — его поэмам, восьмую и девятую — «Евгению Онегину», десятую — «Борису Годунову» и одиннадцатую — «Маленьким трагедиям», сказкам и повестям Пушкина.

[7] Александр I взошел на престол в результате дворцового переворота — в 1801 году его отец император Павел I был задушен в собственной спальне.

[8] Михаил Петрович Погодин (1800–1875) — историк, прозаик, издатель журнала «Москвитянин». Погодин родился в крестьянской семье, а к середине XIX века стал настолько влиятельной фигурой, что давал советы императору Николаю I. Погодина считали центром литературной Москвы, он издал альманах «Урания», в котором публиковал стихи Пушкина, Баратынского, Вяземского, Тютчева, в его «Москвитянине» печатались Гоголь, Жуковский, Островский. Издатель разделял взгляды славянофилов, развивал идеи панславизма, был близок философскому кружку любомудров. Погодин профессионально изучал историю Древней Руси, отстаивал концепцию, согласно которой основы русской государствен-

ности заложили скандинавы. Собрал ценную коллекцию древнерусских документов, которую потом выкупило государство.

[9] Оноре Габриэль Рикети Мирабо (1749–1791) — французский политический деятель. В 1776 году бежал с чужой женой за границу, из-за чего был приговорен к смертной казни за «оскорбление личности», освободился спустя три с половиной года заключения. В 1786 году был отправлен с дипломатической миссией в Пруссию. Во время Великой французской революции получил славу яркого оратора, стал автором Декларации прав человека и гражданина. После смерти Мирабо были найдены доказательства, что он был секретным агентом королевского двора.

[10] Муза венчает славу, а слава Музу (*лат.*).

[11] Ну… (*фр.*)

[12] Что? что? (*фр.*)

[13] Что значит православные?.. Рвань окаянная, проклятая сволочь! Черт возьми, мейн герр (сударь), я прямо взбешен: можно подумать, что у них нет рук, чтобы драться, а только ноги, чтобы удирать (*фр.*).

[14] Позор (*нем.*).

[15] Тысяча дьяволов! Я не сдвинусь отсюда ни на шаг — раз дело начато, надо его кончить. Что вы скажете на это, мейн герр? (*фр.*)

[16] Вы правы (*нем.*).

[17] Черт, дело становится жарким! Этот дьявол — Самозванец, как они его называют, отчаянный головорез. Как вы полагаете, мейн герр? (*фр.*)

[18] О, да! (*нем.*)

[19] Вот глядите, глядите! Завязался бой в тылу у неприятеля. Это, наверно, ударил молодец Басманов *(фр.).*

[20] Я так полагаю (*нем.*).

[21] А вот и наши немцы! — Господа!.. Мейн герр, велите же им построиться и, черт возьми, пойдем в атаку! (*фр.*)

[22] Очень хорошо. Становись! (*нем.*)

[23] Марш! (*нем.*)

[24] С нами бог! (*нем.*)

[25] Глава эта не включена в окончательную редакцию «Капитанской дочки» и сохранилась в

черновой рукописи, где названа «Пропущенная глава». В тексте этой главы Гринев именуется Буланиным, а Зурин — Гриневым. — *Прим. ред.*

Текст печатается по изданию: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 19 томах. Т. 7; 8, кн. 1. — М.: Воскресенье, 1995.

Главный редактор *С. Турко*

Руководитель проекта *Л. Разживайкина*

Корректоры *А. Кондратова, Т. Редькина, Е. Чудинова*

Компьютерная верстка *М. Поташкин*

Художник *Ю. Буга*

© Пильщиков И., предисловие, 2022

© Сапрыкин Ю., предисловие, 2022

© ООО «Альпина Паблишер», 2023

Пушкин А.

Борис Годунов. Капитанская дочка / Александр Пушкин. — М.: Альпина Паблишер, 2023. — (Серия «Главные книги русской литературы»).

ISBN 978-5-9614-8987-3